

АНАТОЛИЙ БУРАКОВ

**СКВОЗЬ СМЕРТЬ
И ВРЕМЯ**

Все права сохранены за автором

All rights reserved by the author

**Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany**



Справа автор, слева – друг по армии и плену Борис Либис из Винницы. Он погиб в лагере «Шталаг 311-11 С» летом 1942 года в Германии.
... в Двинске (Латвия) в 1940 году

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга Анатолия Буракова — документ Истории и в то же время исповедь много натерпевшегося и исстрадавшегося человеческого сердца. Не так уж много и за Рубежом и в Советском Союзе таких правдивых искренних и непосредственных книг. Когда Анатолий Бураков дал мне рукопись книги, я переслал ее главному редактору газеты «Новое Русское Слово», ныне покойному М. Е. Вейнбауму. Последний попросил Юрия Большухина ознакомиться с рукописью и, если его заключение совпадет с моим, подготовить манускрипт к печати. В чем же достоинство этого манускрипта? Все мы сошлись на том, что еще никто так не писал, о самом начале второй мировой войны и тех исключительно трудных обстоятельствах, при которых попали в плен миллионы солдат и офицеров Советской армии. Массовое пораженчество, конечно, было, и на это нельзя закрывать глаза, но помимо пораженчества было и другое: деморализация армии, и эта деморализация оказалась роковым последствием ошибочной и преступной политики Сталина 1937—41 годов.

Анатолий Бураков мало говорит о политике. Он просто и бесхитростно рассказывает как было дело, подсознательно подчиняясь принципу «жизни застигнутой врасплох».

Естественность ситуаций, которые не выдуманы, а выхвачены из жизни, убеждает и захватывает читателя. У автора феноменальная зрительная память и потому пережитое в те, ныне далекие годы, остается в его очерках и свежим и точным.

О целом можно судить по части, если, понятно, часть крайне характерна и типична для целого. Пережитое Бура-

ковым перед войной, в первые месяцы войны, в нацистском плену, в немецких вспомогательных частях, куда он попал в силу сложившихся обстоятельств, после плена, в лагерях для перемещенных лиц — все подано так живо и подлинно, что личный опыт автора становится частью опыта миллионов (в самом начале войны и в плену), ходивших вблизи от гибели, а позднее — частью опыта десятков, если не сотен, тысяч.

Поразительная последняя, заключительная глава книги. Она способна расстроить читателя до слез. Бураков простыми, бесхитростными, но выразительными, словами показал, что сердце матери, голос крови, зов предков выше и сильнее разлук, над ними не властны ни пространство, ни время. И я убежден, что правдиво, искренне написанная книга Буракова будет тепло принята в различных читательских кругах.

Вячеслав Завалишин

ТЕНИ МИНУВШЕГО

Глава I

«По Руси великой, без конца, без краю —
Тянется дорожка, узкая, кривая.
Чрез леса да реки, по лугам, по нивам,
Все бежит куда-то — шагом торопливым.
И чудес хоть мало встретишь той дорогой,
Но мне мил и близок вид ее, убогой...»

А. Апухтин

И так окончилась гражданская война и началось мирное строительство коммунизма.

Качалов. (Из фильма «Путевка в жизнь».)

Родился я в 1920 году, когда остатки обескровленной Белой армии покидали Россию, а над страной заалело красное знамя мирового коммунизма.

Жил я тогда в небольшом городке с хорошо развитой текстильной промышленностью. Отец был служащий. Мать по слабости здоровья не работала. Жизни, лучшей чем в Советском Союзе, я не знал, а о прежней жизни слышал только вздохи матери, которая часто, подойдя к шкафу с посудой, среди которой находилась маленькая деревянная иконка, начинала молиться, прижимая платок к глазам...

Не прошло и года, как умерла сестра от гнойного аппендицита, ей было всего десять лет, ее смерть унесла в могилу кусочек уюта нашей семьи.

В том же году папу лишили партийного билета, за правый уклон, тогда же со стены над папиным письменным столом сняли портрет Плеханова, висевший вместе с портретом Молотова. Когда я спроси маму: почему сняли только один портрет, она ответила: достаточно висеть только Молотову.

Этот год, исключение папы из партии, я особенно хорошо помню: не стало друзей, пища ухудшилась, мы с младшей сестренкой лишились сладостей и игрушек. Летом 1933 года, мама с младшей сестрой уехала в Ленинград, к родителям, а меня отправили в деревню к бабушке, где я про-

был все лето. В августе приехал папа и взял меня в город, я должен был поступить в 6-й класс. Папа очень изменился, одет был в гражданскую одежду, которая его старила и висела на нем как на вешалке, отпустил усы, изменившие его лицо.

Улица, на которой я провел свое детство, одним концом упиралась в городской общественный сад, а другая сторона начиналась с широкой площади, на которой стояла Троицкая церковь. За общественным садом, за широкой аллеей ступеньки к реке Тезе, на берегу которой стояла купальня и лодочная пристань. По речке сновали пароходы; пассажиры на палубе махали купающимся шляпами, пока пароход не скрывался за поворотом . . .

До праздника Ильина остался всего один день, а я продолжал ходить на цыпочках, чтобы не тревожить даже сестру, с которой у меня происходили постоянные стычки, от которых она всегда бежала к матери с жалобой на меня. От мамы я всегда слышу наставления, если стану держать себя плохо, меня не возьмут к дедушке, но как я не стремился к подобному поведению послушного мальчика, все же, что-то должно было случиться: был у меня друг, живший по соседству, и вот, словно бес нас толкнул нарушить просьбу старших: поймали мы дворняжку Жучку, привязали ей на хвост банку, собака с визгом влетела в открытое окно своего хозяина, жил он в подвальном помещении, который сидел с женой за столом перед самоваром. Все со стола полетело на пол, напугав сильно стариков, когда же приехал мой дедушка, мама только кончала надо мной экзекуцию, и я, получив очередную порцию ремня, забился в угол. Но все же в деревню меня взяли, предупредив, что наказание мне продлится там. Мама стала упаковывать подарки для папных сестер и свекрови, которая не долюбливалась маму за то, что она увезла ее сына в город от большого крестьянского хозяйства.

. . . Наконец показывается тарантас, на котором восседает дедушка. Он в белой косоворотке под кушаком, черная лопатой борода. Я подбегаю к нему, он останавливает лошадь Зорьку, поднимает меня, целует, от щекотания его бороды я громко смеюсь, все рассаживаются в экипаж и мыдвигаемся вперед.

Проезжаем через весь город, окраину, еще пару километров и мы в поле. Дорога тянется среди ржи, мелькают голов-

ки васильков, ромашки, маячит вдали клевер, а в синем небе трели жаворонков. Это ведь правда все было? И дорога во ржи, и васильки, и ромашки, и жаворонки в небе . . . А теперь? . . . Одни сны, одни тени светлого, прошлого, невозвратного . . . Дедушка дает мне в руки вожжи и я сам управляю Зорькой, которая начинает бежать рысцой, зная, что скоро будет дом и ее пустят на гумно. Вот и деревня, дедушкин дом большой, палисадник перед домом, лавочки, на которых обыкновенно сидят пожилые люди, обсуждая мирские дела. Дедушку все уважали, и иначе не называли как Устин Иванович.

В Ильин день престольный праздник: все снуют, бегают, что-то носят. Я подбегаю к бабушке, которая принимает подарки от мамы, и прошу колобок, она поднимает меня, целует и говорит одно и то же, что я весь в свою мать. Потом подводит меня к столу, на котором лежат свежие колобки со сметанным запахом, проглотив наспех я бегу на улицу, и с мальчиками сговариваюсь идти ловить рыбу. В первую ночь я спал на сеновале и быстро заснул от запаха свежего сена. А утром дом жужжал как пчелиный рой, скрипели половицы, хлопали двери и несся грозный голос бабушка, подгонявшей всех идти в церковь. Последняя находилась в селе за два километра, по деревенским улицам шли крестьяне, каждая семья в отдельности, проходя мимо нас здоровались и поздравляли с праздником. За речкой, красуясь своей белизной, стояла церковь. Служил в ней отец Александр, у которого две дочери учительствовали в селе. Я шел с дедушкой, он рассказывал мне о пророке Илье, что это он проезжает по небу и гремит колесницей, после чего идет дождь, и что нужно каждый день молиться и просить пророка Илью о дожде, иначе не станет посевов, пересохнут реки, пропадет рыба, чего я больше всего боялся . . . В церкви было прохладно, пахло ладаном, голубоватый дым подымался к потолку, на котором был изображен пророк на колеснице с двумя белыми лошадьми. А от полумрака и мелькания свечей становилось тепло и радостно на душе. Служба в этот день была долгая, и, когда вышли из церкви, улицы были в теплых солнечных лучах.

С Ильина дня начиналась осень, это был переломной день в природе. У крестьян начиналось приготовление к зиме, после небольшого отдыха. Когда мы возвращались из церкви домой, нас встречал стол уставленный разными яства-

ми: пирогами, от запаха которых щекотало в носу; запеченного в тесте окорока, а над всем этим, словно на пьедестале — на большом блюде поросенок.

После обеда бегу на улицу, которая гудит пьяными головами. Вот где то «Итальянка» с колокольчиками выводит лихую русскую «барыню», визжа на все голоса, ей поддакивает «Баян» — «Когда б имел золотые горы . . .», а молодежь лузгая тыквенные и подсолнечные семечки собирается вокруг гармониста — где кружились парочки, вытанцовывая «Падеспань». Для нас, ребят, раздолье! Мы бежим в поле, как в джунгли, зарываемся в горох и пасемся до вечера. А когда темнеет, мы с дедушкой едем в ночное. Он сажает меня на Зорьку и мы отправляемся за деревню, где около костра сидят мои однолетки из села, жуя печеную картошку, рассказывая страшные небылицы. Я подвигаюсь ближе к костру и засыпаю. Просыпаюсь от громкого смеха, надо мной стоит дедушка и громко смеется. Оказывается, мальчики, пока я спал, вымазали меня углем, громко хохоча. Быстро пробегает время и, в конце недели, Зорька мелкой рысцой везет нас обратно в город. Этот Ильин день остался надолго в памяти. В деревне этой было приказано свыше — организовать колхоз, иначе землю заберут в совхоз. Деревня не повиновалась и власть отобрала у крестьян землю, оставив приусадебные участки, а на крестьян наложила большие налоги; стали уничтожаться хозяйства, а народ убегал в город.

В селе закрыли церковь, из школы выгнали учительниц, прислали активистов и приказали освободить дом священника. Отец Александр не смог перенести всего, что случилось, и с ним произошел нервный припадок. Однажды, в воскресенье, забрав припрятанные ключи от церкви, он залез на колокольню и стал звонить: то был особенный, последний звон. Люди в недоумении останавливались, крестились, а звон расширялся и несся в небеса, как бы жалуюсь Богу. Вдруг сразу все оборвалось: то одна из дочерей, подойдя к отцу, начала просить перестать звонить, а он, с веревкой в руке, осеняя дочь крестом, пятился к окну, и с последним ударом колокола потерял равновесие и полетел вниз. Через три дня его похоронили. Дочерям же дали возможность прожить в доме еще неделю, потом выгнали.

В конце месяца октября, после того как ободрали и увезли все ценное, в городе взорвали Троицкую церковь, переиме-

новав это место в Площадь Советов. Сразу же после взрыва сбросили с собора колокола, а его окружили колючей проволокой, и народ по воскресеньям собирался у этого заграждения и молился на крест, блестящий еще ярче на лучах осеннего солнца. И все, после этого, как-то изменилось, народ помрачнел, люди стали бояться друг друга, пошли субботники и скорыми темпами началось строительство коммунизма, разогнавши по всей земле русский народ...

В стране тогда проводилась коллективизация. По деревням, у крестьян не захотевших организовывать колхоз, отбирали землю. Люди ночами резали скот, забивали избы и разбегались по городам. Не успевших скрыться арестовывали и отправляли на товарную станцию, которая была оцеплена милицией, в помещение станции, без окон и дверей, крестьян впахивали навалом, и мы, мальчишки, часто после школы бегали смотреть на это страшное помещение, откуда несся стон и плач людской.

Ночью подходил товарный эшелон, набивали в него людей, словно сельдей в бочку. Одних «счастливичков» отправляли в Челябинск на металлургические заводы, как рабочую силу, иных, в худшем случае — в сибирские леса, пилить деревья, откуда возврата уже не было...

Весь ужас тех лет в Советском Союзе я осознал только находясь в Красной Армии, по призыву, увидя воочию жизнь населения в Латвии и Литве, при государственной капиталистической системе, а после в Германии. И вместе с ненавистью к советскому режиму, появилась горячая любовь к Родине, к России, попавшей в руки бессердечных экспериментаторов.

В этом году не стало многих наших знакомых и друзей. Еще вечером были, а утром уже нет: взрослых в ссылку, детей в дома для беспризорных. В школе не успевали вырывать из учебников листки с портретами ликвидированных Сталиным бывших вождей. Папа чудом уцелел от тюрьмы — за правый уклон, но потерял службу и, когда в 1934 году умерла папина сестра в деревне, мы переехали в ее домик на берегу речки Соха. Там, в деревне, снова появился семейный уют, ласка родителей, которую не было видно, пока висел Дамоклов меч над папиной головой. Он получил наконец гражданскую службу и все невзгоды отошли в сторону...

В 1938 г, после окончания ФЗУ, я поступил на работу в

одну из ткацких фабрик. Жил как и все русские, под «солнцем» сталинской конституции, о прелестях которой оповещали наши газеты и ругали за границу, в которой, мол, кроме голода и безработицы, ничего путного нет.

Все наше свободное время проходило в очередях, в которых ожидали прихода коммунизма, при котором каждый станет есть по потребностям и работать по способностям. Работал я в трех сменах и времени на эти очереди не хватало. Не успеешь бывало принести хлеб, как несется весть, что дают картошку или иной какой продукт или мануфактуру, короче говоря — претворялись в жизнь сталинские слова: «Жить стало лучше, жить стало веселей!»

В нашем городе было до 10 ткацких фабрик и, несмотря на это, с большим трудом приходилось доставать кусочек той или иной материи на рубашку.

Очереди у магазинов устанавливались с вечера. Официально это было запрещено и милиция разгоняла скопление людей, но несмотря ни на что, очередь в советском государстве узаконилась, как одна из необходимейших процедур в жизни.

Сущность самой очереди — довольно характерна. С вечера тот или иной доброволец пишет на руке человека чернильным карандашом очередной номер. Этот номер становится для него «путевкой в жизнь». С ним от магазина нельзя было уже отлучиться. К утру, около магазина, начиналось столпотворение хуже Вавилонского — один ушел домой и проспал, другой отправился на работу, третий отлучился посмотреть на детей: ушедшие путают номера, очередь ломается. Те, кто посильнее, ломаются без очереди, в воздухе крики, свистки милиционеров, ругань, вопли... а в это время, через черный ход, товар уплывает по «блату». «Блат» в Советском Союзе — это самое могущественное слово во всей стране. Оно сильнее Совнаркома и даже самого НКВД.

Бурно проходила жизнь и на производстве. Ежедневно, после работы, собрания, повестка дня стандартная — о невыполнении плана (хотя в газетах публиковали о «перевыполнении»), о государственных займах, о пятилетке в 3—4 года, о капиталистическом окружении. Так продолжалась моя жизнь до 1940 года, когда она изменилась с уходом моим в Красную Армию.

АРМИЯ

«Досвиданья, мама, не горюй, не грусти —
Пожелай нам доброго пути...»

1 июня 1940 года, еще не вставая с постели, я услышал голос почтальона, который вручил моей матери повестку, на предмет явки ее сына на медицинскую комиссию, перед отправкой в воинскую часть. В этот же день, в газетах было опубликовано, что государства Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония просили о присоединении к Советскому Союзу и, что товарищ Сталин их просьбу удовлетворил. Через 4 дня я прошел медицинскую комиссию, а 1 октября, придя с работы домой, увидел свою мать плачущей, она, плача, держала в руках повестку для моей явки 4 октября в городской Военкомат — с вещами.

Через два дня, собрав друзей, родственников, знакомых — устроили проводы и утром, простившись с громко рыдавшей матерью, отцом и сестрой, я покинул навсегда родной дом и родной городок, в котором протекали мое детство и юность. В Военкомате у всех отобрали паспорта и отправили строем на товарную станцию.

В этот пасмурный день и сама природа словно солидаризировалась с нашими родными и знакомыми, которые провожали нас в далекий, еще неизвестный для нас, путь. К их слезам и скорби присоединилось и небо, посылая на землю потоки дождя. Дождь не переставал все время, поливая всех присутствующих и превращая торжественность проводов к которой все время стремился политрук, в комедию — настолько все были измокшие; а оркестр издавал какие-то хриплые звуки, поскольку вода не давала возможности играть на духовых инструментах.

На станции нас всех поместили в пустое багажное отделение, в котором мы должны были ждать до 7 часов вечера. У дверей поставили часового, чтобы никого не выпускать. Ровно в 7 часов подошел пассажирский состав и началась посадка. Попрощавшись с родными я занял место у окна ва-

гона. Дождь не переставал лить. Снова заиграл оркестр, и наш состав тронулся в темноту осенней ночи.

На душе было тоскливо, хотелось слезами облегчить состояние, но слезы удерживало присутствие других людей.

Когда наш вагон поровнялся с перроном, я увидел мать стоявшую у телеграфного столба, по ее лицу текли слезы и мне припомнились слова из песни: «... Всю глубину материнской печали трудно пером описать...»

Проехали Рыбинск, Бологое, Дно — потом свернули на юг — Великие Луки и Себеж — граница Латвии. Здесь политрук обходил вагоны с вопросом: нет ли больных? Потом двери закрыли и эшелон начал отстукивать километры.

Причина для закрытия дверей была основательная. Каждый новобранец уходя в армию одевался в самую ветхую одежду, поэтому наш вид мог вызвать, у жителей Латвии, превратное суждение о Красной Армии вообще. 7 октября прибыли в Резекне, судя по вокзалу — это был маленький городишко, утопавший в зелени деревьев. Поразмяв ноги в ходьбе по перрону, мы снова разместились по вагонам и состав отогнали за город в тупик. Там мы простояли до вечера. Поздно вечером отправились дальше, и в полночь прибыли в г. Двинск, где и начали выгружаться. Часть, куда я попал, была 152-мм корпусной артиллерией, стоявшей в бывших кавалерийских казармах, в пригороде. Казармы находились в двух местах, ближе к железной дороге — штаб, комендантский взвод- 1-й дивизион и кухня. Через улицу склады, мастерские и большой блок буквой Е, там были клуб, гауптвахта, военторг, 2 и 3-й дивизионы, а напротив через площадь — баня и прачешная.

Полк этот месяц тому назад был переброшен из Финляндии. Многие из комсостава за боевые заслуги имели ордена, в числе таких был и командир полковой школы, в которую я был зачислен. Полк имел новое техническое оснащение: тракторы на гусеничном ходу для орудий, с кузовами для прислуги, автомашины и др. В одной из казарм я и должен был отбывать двухнедельный карантин.

Б О Е Ц

«Артиллеристы — точней прицел.
Наводчик зорек, разведчик смел.
Врагу мы скажем — 'Нашу родину не тронь
А то, откроем сокрушительный огонь'».

Через две недели, утром после завтрака, нас выстроили во дворе и батальонный комиссар вместе с командиром полка, поздравив с окончанием карантина, приступили к назначению нас в то или иное подразделение, считаясь с образованием каждого. Одни шли в батарею, в полковую школу, а другие — с техническим и высшим образованием шли в учебный батальон или 1-ю батарею, откуда выходили офицерами запаса. Я попал в полковую школу, во взвод разведки.

Зимой день бойца начинался в 6 часов утра, а летом в 5. Время всегда так было распределено, что боец не мог урвать минутку — написать домой письмо. Передавали, что тов. Тимошенко распределил время так, чтобы некогда было думать о посторонних вещах, кроме учебы.

В Прибалтике мы получали пищу и одежду на много лучшие, чем в Советском Союзе. Правительству нужно было не ударить лицом в грязь перед освобожденными братьями, потому и в город нас не пускали, пока не расформировали Латышскую Армию. Во время карантина мы получали пищу прямо на улице из кухонного окна в котелок, а остатки сливались в стоявшие во дворе бачки. Во время обеда возле забора собирались латыши, преимущественно подростки, с ведрами и, когда мы уходили, перелезали через забор и вычерпывали содержимое бочек. С населением нам разговаривать было запрещено и нам оставалась одна возможность — разговаривать только друг с другом. Эти жирные отходы из бочек направляли наши мысли на то, что латышская скотина на много сытее, чем люди нашего социалистического отечества. Командный же состав старался все время выставить жизнь Латвии в неприглядном виде, уверяя бойцов, что страна эта была в постоянной безработице, в голоде, а

жители вынуждены мол питаться — отбросами от обеда, что мы видим за забором.

День курсанта начинался в физкультурном зале, где проходили зарядку. Или бегали 15 минут по улице.

День бойца был заполнен с 6 часов утра до 10 часов вечера так: подъем, умыванье и заправка постелей, утренняя поверка одежды от насекомых, стрижка, чистка обуви, осмотр противогаза, винтовки и прочего, перекур и подготовка к завтраку, завтрак, политзанятия, тактика или занятие с материальной частью — в любую погоду на дворе, зимой всегда отправлялись на лыжах за город, вели журнал разведки, затем обед, мертвый час, самоподготовка: чтение политической литературы, главным образом сочинений Ленина, подготовка к следующему дню; у кого из бойцов хорошие успехи, тому разрешали в это время писать письма домой. Ужин. Разучивание песен, чистка обуви и подготовка к вечерней поверке. Вечерняя поверка, отбой.

Обмундирование получали следующее: сапоги, шинель, 3 пары портянок, 1 пара нижнего белья лежала в ранце неприкосновенным запасом, 2 гимнастерки, 2 пары брюк, 1 пара выходная.

Верхняя одежда давалась на полгода. Каждую субботу была баня и в этот день менялось белье. Верхнюю одежду стирали сами, покупая мыло на свои деньги, а кто курил, стирал без мыла, деньги шли на покупку махорки. В воскресенье, под руководством среднего командира строем шли в город, а зимой начинался обязательный лыжный кросс, продолжавшийся всю зиму. Одиночные отпуска давались только тому, кто успевал в занятиях. Я, как участник полковой самодеятельности был освобожден от несения караульной службы и имел возможность посещать Дом Красной Армии, где устраивались танцы, сеансы кино, приезжал хор Александра, выступал и наш хор, получивший на Олимпиаде при Б. В. О. первое место, в этом хоре участвовал и я, а к празднику 7 ноября получил 25 рублей за отличную боевую и политическую подготовку и сфотографировали для газеты.

Происходили в полку и довольно частые самовольные отлучки. К примеру: боец Г-ко, 2-й год службы, за первую отлучку имел 5 суток гауптвахты, за вторую отлучку 10 суток, за третью поймали и судили в полковом клубе — показательным процессом. Приговор — «расстрел». На этом фак-

те надо остановиться. Этот боец имел в городе свою пассию — латышку, к которой и приходил на квартиру в вольной одежде. В третий раз он подарил часовому свои часы и убежал с гауптвахты, был пойман в гражданской одежде у дамы своего сердца, в этой одежде сфотографирован для вещественного доказательства . . .

Прошла зима, а в апреле полк наш выехал в летний лагерь в Литву.

ЛАГЕРЬ

«Далеко родные осины,
Далеко родные края.
Как мать дожидается сына,
Родная сторонка моя...»

Полк наш расположился в густом лесу, на берегу речки, возле станции Пожеймяне, в Восточной Литве. Для бойцов предназначались большие деревянные здания без окон, рам и дверей. В помещении с обеих сторон нары. Ближе к железной дороге стояли небольшие домики для комсостава. По другую сторону дороги находилась литовская артиллерийская часть, которая еще не была расформирована, но уже имела советских политруков. В одну из теплых апрельских ночей я проснулся от крика дневального — «Тревога!» Слышались приглушенные голоса. Бойцы хватали винтовки, противогазы, а у дверей старшина выдавал патроны и приказывал заряжать ружья. Весь лагерь напоминал муравейник. Взвод, в котором я находился, побежал в темноту ночи к полустанку. Дорогой мы услышали, что недалеко от нас стоявшая литовская часть взбунтовалась, перебила политруков и двинулась к станции. Подбежав к вокзалу мы увидели стоявшие легковые машины и несколько человек из войск НКВД. Меня с двумя разведчиками лейтенант оставил при себе, а остальные отправились вправо и влево вдоль полотна железной дороги, для охраны стрелок пути.

Когда рассвело подошел товарный состав, из леса начали выводить литовских солдат и офицеров, многие из них были полураздетые. В вагон их набивали по 50—60 человек. Офицеров поместили отдельно от солдат.

После ухода состава на северо-восток, полковник войск НКВД предупредил всех нас, что за разглашение виденного нами, мы будем судимы Военным Трибуналом. Так демобилизовывал Сталин войска братских республик.

Постояв, после расправы с литовскими солдатами, еще две недели, полк в середине мая выехал на боевые стрель-

бища в Ново-Свицяне, артполигон. Через двое суток путешествия, остановились в нескольких километрах от полигона на берегу озера Малетай и приступили к изготовлению из концентратов ужина. После ужина я пошел к озеру и на берегу, прислонившись к сосне, задремал. Очнулся от криков несшихся от машин, услышав как старшина распределял школу по батареям для участия в стрельбах . . .

Полигон представлял из себя песчаное поле с мелким и редким сосняком, а по другую сторону озера темнели громады сосен.

Перед моим уходом, меня предупредили, чтобы я к наблюдательному пункту полз незамеченным, что я и проделал, свалившись в окоп. Наблюдательный пункт был хорошо замаскирован, с двойным накатом, и только впереди через небольшой просвет, словно две кобры, торчала стереотруба.

Доложил командиру о своем прибытии. Тот позвал командира отделения разведки, младшего сержанта Либиса, и что-то ему приказал. После их разговора я начал вести журнал разведки. Связь и радио налажены еще не были, и командир батареи обрушился на радистов за халатное отношение к делу. В это время послышался рокот мотора, крик, и в окоп свалился связной от командира полка, доложивший комбату, что через 15 минут начнется учебная бомбежка. Не успел он окончить свой рапорт, как все бросились наверх к машинам. Остановились далеко за озером, подъехали еще две машины для проверки материальной части и людей. Вскоре прибыл начальник штаба полка и долго совещался с командным составом . . .

Как впоследствии стало известно, произошла ошибка, стоившая жизни командиру 1-го огневого взвода. Во время прицепки орудия к трактору, он попал между машинами и был раздавлен.

Возвратившись назад, нашли все на своих местах: положили связь, развернули рацию, и батарея была готова к бою.

Случается в жизни, что с первого раза можно определить хорошие качества человека, к которому появляется искреннее расположение и уважение. Вот таким человеком оказался командир 5-й батареи, с которым я был из одного города. Кроме личных качеств верного друга, он был прекрас-

ный стрелок артиллерист, что доказал на манёврах, в которых наша батарея вышла на первое место.

К вечеру после стрельбы и ужина двинулись на запад, по лесной проселочной дороге, вдоль озера.

Был теплый майский вечер, пахло перегнившей листвою, острым запахом дубняка и горькой осины. Озеро тянулось узкой полоской с востока на запад. Наступали сумерки, но вода в озере оставалась прозрачной как слеза. Лучи заходящего солнца падали на деревья, бросавшие тень на озеро и вода в этом месте была бурой и отдавала бездонной пустотой. Я исколесил Литву вдоль и поперек, но красивее этого восточного места страны не видел нигде, хотя почва здесь для крестьян была скудная, но природа дарила им цветочную красоту, леса, рощи, живописные холмы и пригорки, массу озер, рек, ручьев. С жителями я часто встречался и, несмотря на то что советская власть отняла у них все, что необходимо живому человеку, они оставались ласковыми и приветливыми, но упорными и твердыми в своих целях.

Так, с ночными остановками и сном под открытым небом, проехали мы Вильно, Каунас и к вечеру второго дня остановились в городке Россейнай. Пробывши в нём трое суток, двинулись дальше, и последним городком нашей стоянки был Тауроген, в трех километрах от немецкой границы. Часть наших бойцов (огневые взводы) осталась перед городком, а мы поехали по шоссе в поисках места для Н. П. (наблюдательный пункт). На окраине городка, на берегу речки, такое место и обнаружили. В стороне от реки находился католический храм, большой двор, двухэтажный дом, в котором и остановились. Рано утром отправились за боевым снаряжением на склады, бойцы сдали винтовки, получив взамен карабины и другую материальную часть. Наблюдательный пункт мы устроили на церкви, откуда была видна вся окрестность. Меня лейтенант оставил при себе, спать в доме священника. Все эти дни чувствовалось какое-то напряжение. По мосту на правом фланге день и ночь шли машины, танкетки, орудия и все исчезало в пыли, как в грозной пасти зверя, имя которому — война, и приход которого невольно чувствовался инстинктивно каждому бойцу.

ПЛАН «БАРБАРОССА»

«Долины во мгле засыпали,
Молчит опечаленный лес.
Холодные звезды взирали
На спящую землю с небес.
Они, опуская бесстрастно
Лучистые взоры свои, и
Видят как все, что прекрасно,
Забыто навеки людьми.
И видят, что ложь торжествует
Над правдой святой и добром,
Что дикая сила ликует —
Позорным гордась торжеством,
Что дремлет земля изнывая,
Но бодрствует горе на ней . . .
И падают звезды мерцая —
Как слезы из Божьих очей».

В. А. М.

Наступил рассвет 22 июня 1941 года. По линии западных границ от Баренцова до Черного моря загремели залпы немецкой артиллерии. Здесь наступала сильная группа фельдмаршала Бока, нацеливая главный удар на Минск, после Смоленск, Москву, а группа фельдмаршала Лееба имела задачу забрать Прибалтику и выйти к Ленинграду.

В это утро творился сплошной ад — раздавался страшный грохот, рвались снаряды, над головой выли самолеты, звенели выбитые стекла . . . Война вступила в свои права. Самолеты летали так низко, что во ем своим заглушали артиллерийские разрывы. Обстрел нашей местности, на которой стоял дом священника и нашего временного убежища, вскоре прекратился и немцы перенесли огонь на центр города, а за рекой показались первые немецкие танки, обстреливавшие из орудий и пулеметов наши огневые точки. Последние держались с час, пока не влетели на воздух от вражеского огня, похоронив под своими обломками защитников. Мост, перед отходом наших войск, был взорван по-

граничниками и обломки свай, а также крутой подъем берега реки, не давали немецким танкам проходу. Эта преграда спасла на первое время защитников от плена. Я с большим риском взобрался на церковь и, как ни странно, за исключением выбитых стеклом, никаких попаданий в нее не было и находившимся там предложено было опускаться в подвал, куда бойцы и спустились.

Перед командиром батареи стоял разведчик и докладывал, что немцы наводят понтоны, дорога забита разбитыми машинами, убитыми дощадьями и ехать можно только по улицам городка, минуя главную дорогу. После этой информации командир батареи приказал собираться. В это время заработал телефон. Связисты добрались до огневой позиции. Им комбат приказал взорвать все, что они не могут забрать с собой и двигаться на Скаудвилли, пообещав догнать их в дороге. На горячую просьбу священника, комбат разрешил ему и его сестрам ехать с нами до околицы города . . .

Город был основательно разбомблен: торчали трубы догоравших домов, дополнявших треском пожара шум самолетов, слышались далекие артиллерийские разрывы и, нигде, ни одной души кроме нас. Осторожно минуя воронки от разорвавшихся снарядов, мы выехали за город. Священник пошел с сестрами по проселочной дороге. Подъезжая к лесу мы стали встречать бойцов, пехоту, пограничников, приписной состав с лопатами, кирками, прямо с работы, все по виду были спросонья без обуви и гимнастеров; вся эта масса брела по обочинам дороги, опустив головы. На их измученных лицах лежала печать полнейшей покорности судьбе. Мы проехали еще с километр, и тут, возле деревянного моста, нас задержал пехотный майор из штаба дивизии, он направлял отступавших в места сбора. Тут же сапёры минировали мост. Майор проинформировал нас о противнике и сообщили, что наша батарея должна держать под обстрелом дорогу около Скаудвилля, дабы задержать наступающие немецкие танки, пока не подойдет танковая дивизия Черняховского (в конце войны он был в звании генерал-полковника и командовал фронтом), у Скаудвилля мы догнали батарею, стоявшую по обочинам дороги и поджидавшую нас. По дороге двигались грузовики, легкие орудия, которые тянули лошади, танкетки, двуколки — издали казалось все это сплошной лентой.

В это время из-за леса вынеслись три немецких самолета-разведчика, промелькнули над нами и начали набирать высоту, одновременно разворачиваясь вдоль дороги. Началась паника. Успевшие убежать в лес — спаслись. Самолеты один за другим, с небольшими интервалами, со страшным ревом неслись вниз, пуская пулеметные очереди. Мы бросились с дороги, но камни и стрельба прижали нас к земле. После третьего налета самолеты набрали высоту и улетели к границе. Поднявшись с земли мы пошли к нашим машинам и орудиям. Все было цело. Только кругом слышались стоны раненых, лошадиное ржание, треск горевших машин и барабанной дробью взрывались пулеметные ленты... Показавшийся из-за леса луч солнца осветил страшную картину. Собравшись вместе мы направились по проселочной дороге. Километров через пять остановились и комбат выслал разведку; через полчаса она вернулась и сообщила, что путь свободен. Поехали дальше. Перевалили высоту и только спустились с холма, как попали под артиллерийский обстрел. Все выбежали из машин и побежали к лесу. Первый снаряд просвистел над головой и разорвался сзади. Я бросился на землю, чувствуя что задыхаюсь от бега, сердце так колотилось, словно ударялось о что-то твердое. Орудия ударили несколько раз порознь, а потом залпом, перенеся огонь вправо, влево. Взметнулась земля, все заволжлось дымом, пеплом. Слышался шум скошенных сосен, напоминавший треск деревьев на большом костре... Я как бы сросся с землею. Пушки били минут 15, потом сразу все стихло. Поднявши голову я увидел, как комбат показывал рукой в сторону машины. Когда все собрались, мы двинулись дальше. Дорога становилась все хуже и хуже, машина прыгала, наклонялась, казалось вот-вот перевернется. Километров через пять остановились и лейтенант Быков рассказал подробности первого часа войны.

Вскоре после начала немецкой артподготовки из штаба передали об открытии огня по линии границы. А для борьбы с нашим огнем немцы выделили крупнокалиберную артиллерию, штурмовую авиацию и держали под обстрелом дорогу Тауроген-Шаулей. В воздухе висели баллоны, с которых они корректировали огонь своих батарей, и связь со штабом полка сразу же прекратилась, а остальное мы знали. Собрав остатки сухого рациона и разделив между собой, немного позакусили. Я прилег около машины и закинув руки

за голову смотрел в синее бездонное небо, на котором одна за другой зажигались звездочки, и мысли уносились далеко-далеко, в родной город Шую. Папа вернулся со службы, все сидят около радио — ведь началась война, мама плачет... Им не известно, что я нахожусь на самой границе, последнее письмо я послал из летнего лагеря... Становилось темно, деревья стояли словно насторожившись; казалось, что вся природа прислушивается к далекой артиллерийской канонаде. Отдохнув, мы двинулись в юго-восточном направлении. Дорога была чрезвычайно трудная, приходилось валить деревья и делать настилы, ибо машина застревала на неровной, в выбоинах и ухабах, дороге. В полночь остановились. Канонада усилилась, пролетали самолеты, в небе висели ракеты, начинался бой на подступах к Каунасу. Оставив орудия для занятия О. П. (огневой позиции) взвод управления пошел вперед. Не доходя до дороги Мемель—Каунас остановились на опушке леса, выслав разведку. Вскоре она вернулась, найдя место для Н. П. Связисты побежали прокладывать линию, а мы стали копать окоп рядом с большой сосной. Когда пришло первое известие с О. П., что батарея готова, стало светать. Телефон и радио работали отлично. Вдруг сразу, совсем неожиданно, из леса выскочил танк, сбоку под башней был виден крест. «Приготовься!» — крикнул командир батареи. Ждать пришлось недолго, показались два первые танка, потом еще один и автомашины.. Командир крикну: «Первому орудью, огонь!» и снаряд, словно хрюкающий поросенок, пролетел над нами, разорвавшись за дорогой, Сделав поправку, комбат вторично крикнул: «Батарея, огонь!» Дружно ударила батарея, четыре снаряда рванулись к врагу, видно было, как люди забежали вокруг загоревшейся машины. Лейтенант наш стоял рядом со стереотрубой, перенося огонь вправо, влево. Танки стали нас обстреливать из орудий и пулеметов; первые разрывы начались перед холмом, с каждым залпом все ближе и ближе к нам, пули свистели и взрывали землю вокруг, осколки снарядов не давали подняться. Мы залегли и только комбат корректировал стрельбу и в промежутках разрывов слышался его голос: «Огонь!»... «Огонь!» Я лежал недалеко от лейтенанта, как вдруг пламя огня осветило его лицо. Когда дым рассеялся, командир лежал раскинувши руки, вниз лицом, и как бы целовал землю. Из правого виска медленно сочилась кровь. Первое мгновение я ничего не

слышал, в ушах стоял сплошной звон, голова болела; я подполз к комбату, перевернул его — он уже не дышал... В дерево, под которым мы находились попал снаряд, расщепил его и оно еще дымилось. Телефонная связь оборвалась, один из осколков снаряда попал в рацию, чем спас радиста от смерти. Посмотрев в бинокль в сторону противника, я увидел, как два немецких танка двинулись в нашу сторону и предупредил об этом лейтенанта, командира взвода управления; он крикнул: «Вниз!» и мы покатались с высоты. Немцы продолжали бить из орудий по нашему месту, а мы вскочили в машины и шум моторов заглушил разрывы снарядов.

Лесная дорога была извилистая, на крутых поворотах наша машина съезжала на обочину, мы ее вытаскивали и снова продолжали углубляться в лес. Километров через 10 остановились, пробыв здесь остаток дня. Командир взвода, после долгого разговора с командиром разведки, приказал мне идти на огневую позицию и передать, что произошло с нами, и чтобы они двигались на Шаулей. Повесив автомат через плечо, я взял два диска, револьвер и пошел на запад. Ночь стояла светлая, слева на небе белел серп луны, временами слышалась артиллерийская канонада и, если бы не звездное небо, трудно было бы различить, что это — гром или стрельба. Лес становился реже; когда я вышел на поляну, сзади стояло зарево пожара и гул канонады прекратился, стало тихо, лишь потрескивали сухие сучья под ногами, да изредка слышался крик ночной птицы. Пройдя часа два решил отдохнуть, поскольку знал, что до нужного места осталось не более километра. Невдалеке показалась крыша крестьянского домика, за ним виднелась дорога и кладбище. Пригнувшись, я двинулся к дороге, как неожиданно споткнулся и полетел вниз, очнулся — я лежал на чем-то мягком и живом. Сразу не смог сообразить в чем дело, пока подо мной не послышался крик на литовском языке. Тут только я понял, что в яме отсиживался крестьянин, ожидая когда пройдет фронт; я зажал ему рот и приказал молчать. Переждав немного я решил идти дальше, вылез из своего убежища и начал переходить дорогу и... попал под обстрел; вокруг словно осы жужжали трассирующие пули. Я бросился к кладбищу, залег за памятник и выпустил очередь из автомата — куда-то в темноту. Это еще больше ухудшило положение. Стрельба пошла по памят-

никам, к ней присоединилось чавканье минометов; дольше лежать я не мог, перелез через ограду, прыгнул в темноту и покатился вниз. Обрыв был крутой, я докатился до речки, поднялся и бросился бежать по берегу. Путешествие мое по неизвестному маршруту продолжалось до рассвета. Я залег в густой кустарник. Тут только усталость охватила меня, не спал ведь двое суток, болела голова и все тело, одежда порвалась. Перезарядив автомат, я лег в траву и забылся в мертвом сне.

Солнце подходило к зениту, когда упавший сучок с дерева разбудил меня. Становилось жарко. Деревья дремали под полуденным солнцем, в кустах щебетали птички, вдали кукушка отбивала время своим «ку-ку». Освежившись в речке я сел на трухлявую корягу, вынул карту, компас и стал обдумывать положение. Найдя на карте примерное месторасположение я вылез на бугор и начал обозревать местность. Недалеко проходила дорога, дальше лес, а кругом ни души. Двинулся на север. К концу дня, когда сгустились сумерки и лес становился реже, недалеко увидел хутор. Мучил сильный голод. Ноги подкашивались от усталости. По небу плыли темные рваные облака, предвещавшие грозу. Вдали слышались раскаты грома... Около постройки ходил важно петух, переговариваясь громко с курами, мычали коровы, а вверху ласточки пели свою песню: «Улетели, молотили, прилетели, пахут...» Сняв с плеча автомат я двинулся к дому. Навстречу вышел мужчина с молодой женщиной и позвал меня в дом, они очевидно наблюдали за мной. Приветливо усадили за стол, налили молока, женщина начала жарить яичницу. Я стал расспрашивать о немцах. Хозяин сообщил, что немцы прошли далеко, не встречая сопротивления, что в двух километрах стоят брошенные танки и, как бы невзначай, показал рукой во двор, где стояли груженые обмундированием подводы, а сверху две швейные машины. Эти трофеи ему подарили стоявшие ночью здесь немцы. Я так был занят едой и расспросами, что не услышал, как сзади скрипнула дверь. Раздался голос: «Товарищ боец!» Передо мной стоял командир 2-го дивизиона капитан Станковский. Я кратко сообщил ему, что произошло. «Хорошо, — сказал капитан. — Завтра к утру будем у своих, литовец обещал дать проводника и пищу, а пока идем на сеновал».

На сеновале было шесть таких как я, проверили оружие,

уничтожили отличительные знаки, сожгли документы, в противогазные сумки напихали хлеба с салом, гостинцы хозяина, а часов в 10 пришел старичок проводник и мы, распрощавшись с хозяевами, нырнули в мокрую темноту. Дождь лил целыми потоками. Гром гремел непрерывно, молния освещала наш путь, идти становилось труднее, натыкались на деревья, автомат задевал за кусты. Я потерял пилотку и вода лилась по лицу. Дорогой неоднократно падали и вставали, снова брели, пока окончательно не выбились из сил. Рядом с деревом опустились на землю. Проводник предупредил, что лес скоро кончится, будет речка и идти будет легче. Пока сидели и дождь перестал. Снова двинулись вперед. Остановились на берегу речки, ясно услышав артиллерийскую стрельбу. Проводник сообщил, что за речкой дорога Рига—Поневежец; когда перейдем ее надо идти на северо-восток, откуда слышался гул орудий. Поблагодарив проводника пошли дальше, перешли вброд речку. Здесь лес был мельче, справа из-за туч солнце показало кусочек своего диска. Солнечные зайчики забегали по кустам и траве, от которой шел пар, а последние мрачные тучи, облежавшие с вечера небо, неслись на восток. А здесь на земле в лесной глуши громко пели проснувшиеся птички, работая около своих гнезд и подпуская нас совсем близко, удивленно ворочали головками, как бы спрашивая — зачем вы здесь? Начались густые заросли осинника, перешли хлюпкое болото на горку, оттуда снова вниз, опять кусты и вскоре очутились перед дорогой, которая скрывалась за поворотом. Оставив меня с автоматом последним, они поодиночке стали перебегать дорогу. Когда все были на другой стороне — я подождал и пригнувшись выбежал на середину дороги. Вдруг из-за поворота, в белых комбинезонах на велосипедах выехало до 30 немцев. Дальше все произошло как в калейдоскопе; немец крикнул «Хальт!» Я направил на них автомат, выпустил весь диск и бросился в лес. Сзади слышались крики, выстрелы, а я как зверь несся среди кустов и ветки били по лицу, еще сильнее подгоняя меня. Бежал — пока не обессилел. Наступила тишина, только колотилось сердце, да в болотной траве однотонно пела водяная мушкара и печально кричала иволга. Солнце светило справа — значит бежал правильно. Отдохнув, быстро двинулся дальше через болотные кусты...

П Л Е Н

«Земля постель солдатская,
Пока не грянет гром.
Мы на тебя на братскую —
Приляжем впятером . . .»

Немало времени пришлось мне скрываться в лесу, бегать затравленным зверем. Изредка в хуторе выпрашивал пищу, которая меня и поддерживала. 20 июля — дата запомнившаяся мне на всю жизнь. Дата эта свернула дорогу моих дней совершенно в другую сторону, о которой никогда не думал . . .

На одном хуторе, не доходя до города Двинска, нарвался на немецких солдат, ремонтирующих танки. Деваться было некуда. Остался один выход. Подняв автомат, я сдался в плен. Вечером у немцев собралось 20 пленных, и нас всех, под конвоем, отправили на полустанок . . . Там кроме нас находилось до 400 человек, по тем или иным причинам попавшим в руки врага. Были, конечно, и такие, которые не захотели драться за надоевшую до смерти большевистскую власть. Причин сдачи было немало, но одно то, что человек решался добровольно идти в кабалу или на смерть в руки заклятого врага-фашиста, говорило о той нелюдской обстановке, которую большевиков создала у себя в стране. Здесь я встретил трех бойцов из нашего полка и мы стали держаться вместе. Один из них был еврей — учитель немецкого языка, из г. Ташкента, по имени Ахмет. У часового он выменял за часы две буханки хлеба, которые пришлись нам кстати, ибо не ели мы уже около суток. Расправившись с хлебом и запивши его водой из речки, я первый раз за три недели заснул крепким сном. Проснулся от крика «Ауфштеен!» Через полчаса шел с другими на вокзал. Там стоял эшелон с паровозом под парами. Низко бегущие облака придавливали к земле клочья дыма, выходящего из паровозной трубы, который падал на плечи, а длинный рельсовый путь,

скрывающийся в тумане, наводил на мысль — «Куда везут? В жизнь или смерть?» Расставив около каждого вагона по 60 человек, выдав по селедке и буханке хлеба на пять человек, нас стали загонять в вагоны. Закрыли наглухо дверь. В вагоне стало темно. Только через окошечки, заделанные проволокой, пробивался свет. Народ в нашем вагоне был разный: старики, молодежь, солдаты, командиры. Все сбились в кучу и стояли в безмолвной тишине словно стадо, и только гудок паровоза вывел всех из оцепенения . . .

Состав тронулся. С каждым часом в вагоне становилось жарче, воздух был спертый, сильно мучила жажда и на каждой остановке все рвались к двери, в надежде что ее откроют и дадут воды. Но все напрасно. Немцы были глухи к нашим страданиям. Время проходило, бежали десятки километров, состав медленно покрывал расстояние и уже ночью те, что стояли у дверей, на одной из остановок начали громко стучать в дверь. Мы договорились, что двое лягут у двери, а один станет переводить немцам, что нам без воды приходит «капут». Долго ждать не пришлось. Дверь раскрылась. Внизу стояли немцы с собаками, одному немцу наш товарищ и перевел просьбу. Переговорив между собой о чем-то, один из немцев ушел и вскоре возвратился держа в руках кувшин с водой. Позвали вниз переводчика, а из кувшина вылили воду на лежавших, потом закрыли дверь и смеясь ушли, толкая прикладами переводчика и повторяя «Юде». А вскоре раздался залп из винтовок . . . Ночь была ужасная. Мы убедились, что просить наших конвоиров смысла нет. В вагоне невыносимая жара, в горле пересохло, люди испражнялись под себя. В этом кошмаре мы пробыли до утра. А утром, часов в восемь, на одной из остановок всех из вагона выгнали, исключая 25 человек, лежавших без сил. Их вытащили как дрова и разложили у вагона. Эшелон был оцеплен автоматчиками и собаками, которые все время рвались на нас с оскаленными пастьями. Построив нас по пять человек, погнали в сторону от полотна, где в низком кустарнике протекала речка. Увидя воду, несмотря на крики немцев, лай собак и выстрелы, вся масса бросилась вперед, падая и снова поднимаясь. Те, которые не имели сил встать, ползком добрались до воды, а сзади стояли усмехаясь часовые, успокаивая овчарок. Вода сразу почернела, но никто на это не обращал внимания, лишь бы глотать освежительную влагу. Около часа находились мы у

речки, не собираясь уходить, пока не услышали щелканье зубов овчарок; только это вывело нас из водных чар. Выйдя из воды и осмотревшись, я узнал эту местность, еще перед войной я бывал здесь, и сообщил товарищам, что находимся мы в Литве . . . Вскоре нас снова построили и направили по дороге к местечку Россенай, до которого добрались только к вечеру. Там нас разместили в тех казармах, в которых я спал недавно, будучи красноармейцем. Здесь мы впервые получили «корм» — сухари, воду и комбижир.

Окна наши выходили во двор, в котором стояли штабелями метровые дрова с небольшими проходами между. Забрав свою порцию еды, я отправился в казарму, поскольку у меня сильно болела нога, которую я натер при ходьбе, и забравшись на верхние нары, начал смотреть в окно. Двор пустовал. Вдруг я вижу, как под конвоем немцев остановилась группа людей в гражданской одежде и с лопатами в руках, и в одном из проходов начали копать большую яму. Продолжая наблюдать в окно, я оцепенел от ужаса. Перед ямой стояли мужчины и женщины, некоторые держали детей на руках. А впереди них находились немцы с наведенными винтовками. Раздался залп и еще одиночные выстрелы. Люди падали в вырытую яму . . .

Я пролежал в казарме до вечера, не будучи в состоянии опомниться от ужасной картины. Пришедшему товарищу я поведал о виденном . . .

Через неделю, после пребывания в этой казарме, всех нас отправили в Тильзит, где за городом в песках находился полигон. Его огородили проволокой и устроили три лагеря: один для нашего комсостава, другой для солдат и третий для литовцев, латышей и эстонцев, бывших в советской армии; шел слух, что их вот-вот отправят домой. Пищу они получали лучшую чем мы, кроме того много их работало на кухне у немцев и на хлебном складе. На кухню их водили первыми, так что для нас оставались объедки, да вода. Хлеба выдавали две буханки на пять человек, причем хлеб был зацвельный, старый: после того как расковыряешь и выбросишь плесень, оставалось не больше 100 граммов. Жиров не давали совсем. Один советский майор, с орденом Красного знамени на груди, когда шел на обед одним из первых, заявил протест коменданту лагеря против недоброкачества хлеба. Майора забрали, и больше никто его не видел. Прошел слух, что его расстреляли. В лагере не разрешалось

разводить костров, спали на голой земле, счастливы были те, у кого сохранилась шинель, но большинство имело только гимнастерки, тепла они не давали. По лагерю все время ползли слухи, что всех отправят на работу в Германию, дадут сносную пищу и одежду.

Утром, после того как сводят на водопой, пересчитывают — не убежал ли кто за ночь. В это памятное утро, мы как всегда стояли в нашей двадцатке, с нами находился один матрос, который во время счета продолжал пить воду из котелка. Увидев это, фельдфебель до того рассвирепел, что вырвал котелок и ударил матроса палкой по лицу. В ответ на это пленник сильным ударом кулака сшиб фельдфебеля с ног и бросился в середину пятитысячной толпы. Тут все смешалось вместе, в лагерь ворвались немцы с овчарками и началось повальное избиение прикладами и палками, спрятаться было некуда, повсюду люди натыкались на приклады или рычащих собак. Раздалось несколько выстрелов, что еще больше создало панику; я бросился бежать от ворот, как почувствовал сильный удар по голове и потерял сознание. Когда я очнулся, увидел, что все пленники лежат на земле, а немцы ходят и выбирают, кто одет в матросскую форму. Потом всех отобранных увели и больше мы их не видели. Среди нас некоторые оказались тяжело ранеными. Нашлись доктора, оказавшие им первую помощь. На другой день, 1 августа 1941 года, отобрали 2000 человек, в число которых попал и я, посадили в товарный эшелон и повезли. Ехали неделю. Раз в сутки, на остановках, давали воду и освобождали вагоны от мертвых, а раз в двое суток давали на 5 человек двухфунтовую булку; не выдерживали главным образом пожилые люди. Их было много среди нас. Находились они ранее в строительных батальонах — по постройке дотов, огневых точек, аэропортов и иных военных объектов. Так что, когда нас стали выгружать, в нашем вагоне осталось 43 человека. Навсегда остались в памяти детали этой поездки. Помню, как заскрежетали тормоза, паровоз дернулся и остановился. Послышался громкий разговор и лай собак, со скрежетом открылась дверь. Солнечные лучи пробежали по лежащим людям, никто не хотел вставать, и только когда немцы влезли в вагон и начали прикладами винтовок и пинками подгонять — вышли из вагона. Глаза блуждали кругом, в поисках воды, но речки не было. Построив нас и опять пересчитав, немцы, под рычание ов-

чарок, повели нас вглубь леса. Накануне прошел дождь, на дороге образовались лужи и, несмотря на то, что вода перемешалась с грязью и конским навозом, мы все же цедили эту воду через края гимнастерки или оторванную подкладку пилотки. Воду черпали банками и котелками, которыми обзавелись еще в казарме. Сзади ехало несколько военных подвод, подбиравших обессиленных и умерших; их, как дрова, бросали на подводу, друг на друга. Кто был поздоровее выбирался на верх, остальные же задыхались под телами своих товарищей. Часа через три колонна подошла к местности обнесенной колючей проволокой: по бокам стояли вышки с часовыми, несколько бараков для охраны. На воротах висела вывеска: «ШТАЛАГ 311—11 С».

ДОХОДЯГИ

«Эх, сторонка, сторонка родная,
Ты солдатскому сердцу мила.
Эх, дорожка моя фронтовая,
До чего ж ты меня довела!..»

Когда мы дошли до нового своего места, нас опять пересчитали и подвели к бараку, оказавшемуся кухней. Рядом с баракком стояла водяная колонка, один из часовых подошел к ней, открыл воду и поспешно отбежал. Все только этого и ждали, бросились вперед, сбили меня с ног; кое-как поднявшись, я выбрался из толпы, но силы меня оставили и я упал в канаву, по которой стекала вода из кухни и стал ее пить. Многие последовали моему примеру...

Жили мы под открытым небом, потом начали строить землянки и шалаши. По утрам получали какую-то мутную жижу, носившую название «кофе». В обед давали суп. После я видел как его приготавливали: в большой котел бросали нечищенный, плохо промытый, картофель; как только он сварится его толкут добавляя воды и, — суп готов. А вечером выдавали хлеб, выпеченный из муки смешанной с красным бураком, на 16 человек и кусочек маргарина. Я чувствовал, что слабею с каждым днем и не за горами тот день, когда превращусь в доходягу. Все реже и реже выходил на поверку. Рядом с нашим лагерем находился лагерь французов и югославов, там же у них была и санитарная часть. Туда отправляли всех, кто не мог двигаться. Оттуда путь лежал только в братскую могилу. Пленных французов кормили лучше, они работали в санчасти и получали помощь от Красного Креста, а нас сотнями вывозили на кладбище. Целый день по лагерю ездила телега, которую тянули наши пленные, они собирали мертвецов. Назывались «Мертвая команда».

Однажды нашу роту выстроили и повели в санчасть. Там на каждого из нас заполнили анкету и дали порядковый номер. С этого дня имя мы потеряли, став номером, мой был

170, под ними мы и знали друг друга. Потом выдали по одеялу на три человека, поэтому во время сна, чтобы повернуться, мы будили друг друга; маленький кусочек мыла грязного цвета — на 8 человек, резать на части его было нельзя, оно крошилось, состоя из песка и еще чего-то хрупкого. Мы бросали жребий и кусок доставался счастливицу. Получив булку на пять человек, ее разрезали на столько же частей, взвешивая каждую часть на самодельных «весах», состоявших из трех палочек и куска шпагата. Потом некоторые из нас шли на базар, где меняли своей паек на табак и на сырую картошку. С началом темноты возвращались назад. В одну из ночей я увидел сон: будто стоял я на коленях на кровати, прислонившись к стене, на которой висело платье моей матери, и громко плакал, как будто мать умерла. Я так громко рыдал, что разбудил товарищей, которые привели меня в чувство. Следующий день оказался поворотным в моей жизни. Утром, как всегда выстроили, подъехала телега на двух колесах, погрузили в нее мертвых доходяг и пошли за кофе. Впереди — немец ефрейтор с палкой и парабеллумом на ремне, сбоку свой полицай с плеткой, за ним партия доходяг: грязные, оборванные, заросшие, словно вышедшие из другого мира. И трудно было представить себе, что эти люди, когда-то совсем недавно, имели нормальный человеческий вид. Около кухни стояли немцы: два офицера, несколько солдат и, не веря глазам своим, я увидел моего друга по началу плена — Ахмета. Я дал ему несколько знаков. Немец начал выкрикивать номера и мои сотоварищи отошли в сторону. Ахмет в это время подошел к немцу и что-то начал ему говорить, указывая на меня. После подошли ко мне, и немец на чистом русском языке сказал мне, что я буду подметать канцелярию коменданта лагеря, а Ахмет незаметно сунул мне пачку папирос «Салем», которую я всю неделю обменивал на поварской суп у латышей и галичан. Как я после узнал, Ахмет состоял главным переводчиком в лагере.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

«Там в доме нас ждет и горюет родимая мать у дверей,
Солдатское сердце тоскует о родине милой своей.
Россия, Россия, Россия — мы в сердце тебя пронесли,
Прошли мы дороги большие, но краше тебя не нашли».

На другой день, рано утром, я явился к главным воротам, где переводчик принимал по ротам количество людей. Увидев меня, он поманил пальцем и вывел за ворота. В стороне стояло несколько бараков. На одном большая вывеска «Командатура», на другом «Абвер». Дорогой переводчик сообщил, что его зовут Вилли и пояснил мои обязанности: я стану убирать помещение коменданта лагеря, зимой топить печь. Первая комната принадлежала переводчику, в ней стоял шкаф, Вилли объяснил, что в нем будут находиться вещи, и всё что обнаружится на верхней полке будет принадлежать мне. Каждое утро, приходя на работу, я находил там куски хлеба, окурки, иногда сигареты, а так как я не курил, то обменивал их на пищу и одежду. Вилли был балтийским немцем из Риги. В 1940 году с родителями уехал в Германию. Этот человек, маленького роста, лет тридцати пяти, всегда улыбающийся, фактически спас мне жизнь. В этом месте я проработал до ноября, пока однажды не встретил Ахмета. Он отозвал меня в сторону и сообщил, что его вызывают в Абвер, и наверно арестуют, по доносу что он еврей. На другой день его действительно расстреляли — в треугольнике: это была открытая площадка треугольником, обнесенная колючей проволокой, за которой содержались евреи, азиатские народности и политсостав. Рано утром их выстраивали, впереди находился эсесовец, сзади другой с собакой; они ходили по треугольнику до 8 часов утра и всегда с одной песней: «Эх, на горе цыгане стояли...» В 5 часов утра этот лагерь поднимался под лай собак и под эту монотонную песню, под стук колодок о мерзлую землю и щелканье бича в воздухе и о тела пленных; кто не мог идти, того оттаскивали в середину круга и выстрел из парабеллума

прекращал мучения человека. Раз в месяц на велосипедах приезжали эсэсовцы, выбирали кто поздоровее и увозили на работу или в газовые печи.

Конец ноября. Второй день льет дождь. Вчера пригнали 20000 душ нового пополнения для братских могил. К тому времени построили бараки и с приходом холодной погоды началась эпидемия тифа и дезинтерии. Хлеба стали давать меньше — булку на 16 человек. Суп состоял из литра воды и нескольких кусков кормовой свеклы. Каждое утро у барачков прибавлялись мертвые, и по лагерю, в сторону кладбища, вереницей тянулись двуколки с трупами. Новую партию согнали на середину лагеря и начали разбивать на сотни. Перед выходом из старого лагеря у них отобрали шинели и обувь, выдав колодки, и так, под проливным дождем, они прошли 20 километров. После разбивки их повели на кухню, но большинство из них не могло идти — их тут же пристреливали. Выстрелы, лай овчарок, стоны раненых, хрипы умирающих дополняли картину осеннего дня. Из-за прихода новой партии, старых не выпускали из барачков и не давали пищи. К вечеру в лагере стало тише, лишь изредка раздавался лай собаки, откликалась другая, свет прожектора с вышки бегал по баракам и по мокрой земле, освещая лежавшие в разных позах трупы. Одни из них, как бы спали на боку, другие смотрели в бездонное небо, и как бы спрашивали: когда кончится дождь? Утром мертвецов подвозили к ямам, снимали номера с груди и бросали трупы вниз. Звон лопат о мерзлую землю был им заупокойной молитвой.

В этот день у одного из мертвых обнаружили вырезанное мягкое место. Вечером облава. У пленного № 18533 нашли в котелке мясо. Утром выстроили весь лагерь и переводчик перевел приказ: «За людоедство расстрел». Приговор тут же привели в исполнение, и человек хотевший есть, — упал мертвый.

Т И Ф

«Знать умру за колючей оградой —
Труп мой бросят в могилу, как прах . . .
И родные о том не узнают —
Не придет, не расплачется мать . . .»

В один из ноябрьских дней я почувствовал себя плохо: весь горел, в голове шумело, ноги подкашивались, барак подмести не мог и Вилли отвел меня в санчасть. Там толкнули под холодный душ, обмазали волосяные места мазью и отвели на койку. Помню одно: как прислонился головой к подушке, потом все закружилось и я полетел в неизвестность.

Спустя неделю, в декабре месяце, я пришел в себя окончательно и увидел, что нахожусь в чистой теплой комнате, на кровати с простыней и подушкой. Койка стояла у окна, через которое были видны бараки, между ними — сосны обсыпанные снегом и кругом полная тишина. Кроме моей, в бараке стояло несколько пустых коек, в углу железная печка, в ней потрескивали дрова создавая уют, рядом с ней сидел человек в матросской одежде и читал книгу. От слабости я еще не мог двигаться, в глазах рябило, предметы то пропадали, то опять появлялись; я открывал и закрывал глаза и, как видно, застонал. Сидевший человек подошел ко мне, приподнял мне голову и влил в рот немного воды, спросил — хочу ли я кушать и получив отрицательный ответ — отошел, а я снова закрыл глаза. И снова наступило забытие. Очнулся от раздававшихся в комнате голосов. В одном я узнал голос Вилли. Хотел привстать, но голова закружилась и я упал на подушку. Матрос поднес мне таблетку, которую я запил водой и уснул.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой —
И вдаль укатился, жестокою бурей гонимый . . .»

М. Лермонтов

С этого момента началось мое выздоровление. Матрос, оказавшийся фельдшером, долго и часто просиживал у моей койки и рассказал, что во время моей болезни приходил переводчик, приносил хлеб, табак, суп из солдатской кухни, но я ни к чему не прикасался и он решил, что наступает конец, но кризис прошел. Молодой организм переборол болезнь, силы возвращались с каждым днем. Фельдшер оказался земляком из Кохмы. Только благодаря ему и переводчику я остался жив. В свободное время фельдшер приходил ко мне, давал таблетки, делал уколы, приносил вкусный суп. Я отдавал ему табак. Через две недели меня перевели в лагерь — роту выздоравливавших. На лагерь был наложен карантин. Барак наш стоял в самом углу лагеря, за ключей проволокой. Пищу нам передавали через особую дверь, состояла она из баланды, представлявшей собою коричневую воду с парой кусков больших кормовых бураков. Вечером давали хлеб испеченный с красной свеклой, мягкий как замазка, а иногда давали кусочек маргарина — на 7—16 человек. Барак был каменный, двухъярусные деревянные нары, посреди две железные печки, от которых низко по полу тянулись трубы. Два раза в неделю привозили уголь, и тогда в нашем бараке туманом стояла теплая вонь, стелившаяся по грязному мокрому полу. В эти дни, кто мог еще двигаться, слезали с нар, подползали к печкам и трубам, и гладили на них нижнее белье, выпаривая вшей. С каждой новой неделей выздоравливающих становилось меньше и меньше, и санитарная часть не успевала пополнять места мертвых. Во что бы то ни стало, я решил вырваться из этого ада . . . В средних числах февраля, рано утром, полицай отобрал 10 человек, в число которых попал и

я, и вывел за пределы лагеря. У главных ворот мы подошли к одному барaku. Рядом с ним стояли пленные с полицаем и получали лопаты. Получили и мы. Уже рассвело, когда мы подошли к главным воротам, там стояли немцы. Среди них я узнал Вилли. Я бросился к нему с криком — «Вилли!» Он поднял руку и крикнув «Хальт, хальт!», остановил меня. Пригляделся, как будто с трудом узнавая. Да и нелегко было узнать, вряд ли могла это сделать родная мать, настолько мы изменились. Стояли обвязанные тряпками, грязные, обросшие волосами, с жестяными банками от консервов у поясов, даже колодки издавали одинаковый звук.

Вилли подошел ко мне и я рассказал ему, где я нахожусь. «В десять часов придешь к воротам», — сказал он и что-то передал полицаю. По дороге в барак, сопровождавший меня страж начал расспрашивать, откуда я знаю переводчика. Я ему все рассказал и, когда пришли к месту назначения, я был накормлен хлебом и ихним супом. В назначенное время я был у ворот, там уже находился Вилли. Он мне сказал, что в лагере карантин, но он может меня устроить на кухню или полицаем. От второй должности я отказался, а первую принял с охотой. Во время карантина в лагере образовалось свое начальство; бывший советский офицер стал комендантом лагеря, были свои переводчики, свой начальник полиции, командиры рот, и в каждой роте 2—3 полицай, вооруженные сплетенной из ремней плеткой — для укрощения строптивых доходяг.

Так же было и на кухне № 1, куда привел меня Вилли. Там он вызвал заведующего и главного повара, сообщил им, что я буду тут работать по приказанию коменданта. Им он дал по три сигареты, мне же пачку. Я его слезно поблагодарил и мы условились, что когда мне что-нибудь будет нужно, я стану приходить к главным воротам. Перешагнув порог кухни, я словно попал в другой мир: было тепло от пара, исходявшего из десятка котлов; слышались смех, шутки; здоровые люди с засученными рукавами толкли картошку в котлах. От этого запаха сразу защекотало в желудке...

Завкухней отвел меня в заднюю комнату, в которой было сделано что-то наподобие душа, и я обмылся, свой парикмахер обкарнал мою шевелюру. Потом я получил другую одежду, сапоги, котелок хорошего супа с хлебом и мне по-

казали где я буду спать. Это была комната на той же кухне, в ней спали 12 поваров, в число которых попал и я.

После плотного обеда я лег на нары, в голове стоял какой-то сумбур, и не верилось, что я действительно вырвался из того ада, в котором находился еще утром. Остаток дня я ничего не делал. Знакомился с кухонными рабочими, раздал сигареты главному повару, здоровенному детине, матросу Леньке и заведующему, которого звали Васькой (бывший учитель из Р. Д.) Оба сразу начали хорошо ко мне относиться.

Я быстро стал прибавляться в весе — помогали сигареты, которые иногда приносил мне переводчик, и вскоре уже не был доходягой.

1 9 4 2 г о д

«По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ.
Вот где Русь, твои добрые молодцы
Вся опора в годину невзгод . . .»

С. Есенин.

Утром, в 7 часов, роты приходили за кофе. Рядом с кухней находился открытый навес с четырьмя узкими проходами, и в конце каждого прохода ставились ушаты с мутноватой жидкостью и с баландой на обед.

Во время выдачи пищи стоял сплошной шум, гвалт, плетки полицаев полосовали спины и лица доходяг, не могущих быстро двигаться; некоторые ухитрялись спрятать полную банку под шинель, а другой рукой подставить пустую. Пойманных добивали на месте, и в конце выдачи рядом с каждой кухней валялось с десятков мертвых и недобитых доходяг. Лежали они до вечера, оставляли их так для примера другим. На другой день было то же, подходить к ним строго запрещалось; оказавший помощь сам мог попасть под наказание. Все проходили мимо лежавших лагерников; некоторым удавалось стянуть с мертвого пилотку, колодки, а вечером обменять на толкучке за пищу или окурок. Базар начинался сразу же после выдачи вечером хлеба. Гвалт стоял невообразимый; иногда ловили человека, укравшего что-либо у — товарища, и озверелая толпа набрасывалась на него и забивала насмерть; никакой жалости не было, каждый думал, как бы прожить самому день. На базаре продавалось все — от тряпок на портянки до зубных золотых коронок — их ухитрялись вырывать с зубов, а после карантина обменивать часовым на хлеб. Рядом с нашей кухней находилась яма метра в два глубины, куда сваливались всякого рода остатки с кухни, — гнилой картофель, грязь после мытья пола и другое; а утром, первый из постоянных рабочих (их приводили из лагеря), выбрасывая мусор находил там мертвеца. Забирались туда дабы найти что-нибудь съедобное, а вылезти назад не хватало сил; зимой они там и за-

мерзали. Являлся полицаи, снимал номер, а мертвеца засыпали отбросами. Летом их вытаскивали и сдавали ротному полицаю, который в «назидание потомкам» «вливал» 25 своим холодным оружием.

По вечерам, после приготовления «кофе» к следующему утру, мы собирались в нашей коморке, пели песни (меня просили петь русские), а мой сосед пел украинские. Своими песнями и рассказами о своей родине, он привил мне любовь к Украине.

Так я прожил на кухне до февраля 1943 года, встречал немало земляков, помогал чем мог; один из них, после войны приехавши домой, посетил мою мать. 11 февраля в лагерь приехал власовский офицер в чине поручика. Всех нас выстроили, и он начал рассказывать о Власовском движении, о добровольцах, о прелестях национал-социализма, о том, как Гитлер беспокоится о народах Европы и Азии, какова станет сытая жизнь; недалек, мол, тот день, когда знамя национал-социализма будет развиваться и над свободной Россией. Рассказал еще о последней речи Сталина, в которой он, на обращение Швейцарского Красного Креста, сказал: «Пленных у меня нет, а есть изменники Родины». И отказал в помощи через Красный Крест. «Так что, — продолжал власовский поручик, — улучшения питания в лагере для вас — ждать не придется».

Большинство лагерников, конечно, и не знало ничего о национал-социализме, ни о Власове, да это было и не важно для них, — был важен главным образом приличный кусок хлеба и котелок густого супа... Это последнее и заставило многих военнопленных принять предложение власовского посланца и влиться в ряды этой освободительной армии.

На другой день отобрали артиллеристов, а еще через два дня меня самого и еще 11 человек, под конвоем немца, привели на станцию и посадили в пустой пассажирский вагон. Поезд дал свисток и вагоны тронулись...

К тому времени я уже довольно прилично выучился говорить по-немецки и начал расспрашивать нашего часового, куда мы едем. Он ответил, что едем в другой лагерь, в котором должны пройти медицинскую комиссию.

Я сел у окна. Мелькали поля, через снег пробивалась озимь, огороды, чистые домики, на станциях люди с рюкзаками, все хорошо одетые; и как-то стало тепло на душе... Я задремал.

СНОВА У ПУШЕК

«Грядущее тревожит грудь мою —
Как жизнь я кончу, где душа моя
Блуждать осуждена, в каком краю
Любезные предметы встречу я?»

М. Лермонтов

Стук буферов вывел меня из полудремоты. Мы стояли перед вокзалом. Название станции Фаллингбостен. Часовой крикнул: «Лос, лос!» и мы пулей вылетели из вагона, вслед за нами вышел часовой и мы двинулись пешком. Километров через пять подошли к высокой изгороди из проволоки, вышки, а за ними большие каменные здания. Во дворе часовой нас сдал в один из барачков. Внутри было чисто, двойные деревянные кровати, электричество, стол на каждые 10 человек. Это был бывший французский лагерь. Через час дали котелок супа, кусок хлеба, одеяло и указали койку. Французов увезли давно, и лагерь предназначили переходным для советских пленных. Здесь мы проходили военную медицинскую комиссию; здоровых отправляли по военным частям, а больных возвращали назад в лагерь, как мы говорили «доходить». На другой день прошли вошебойку, стрижку наголо и нас повели в санчасть. В одной из комнат находилось несколько офицеров в форме зенитчиков в белых халатах. Произвели поверхностный осмотр. Доктор, к которому я попал, обратил внимание на мою упитанность, а когда я ответил ему по-немецки, даже улыбнулся. После осмотра подвели меня к столу с картотекой; там отобрали номер и записали имя, фамилию, год рождения, национальность, и после этого нас в количестве четырех человек отвели в канцелярию и передали вахмистру зенитчику. Оттуда снова пошли на вокзал. Дальше — вагон, ночь пути, остановка и город Брауншвейг. Здесь пересели на автомашину. За городом во все стороны стояли заводские корпуса, между которыми — вышки, на них торчали стволы зениток, а рядом с корпусами копошились люди, темные от грязи и голода;

одни из них с желтыми звездами на груди — это «юде», другие — французы с зелеными сумочками через плечо, но больше всего было молодых девушек в советских фуфайках и самодельной одежде — на груди круглый значок «О.С.Т.» Вскоре машины свернули и остановились рядом с четырьмя бараками и тремя вышками с 33-миллиметровыми зенитными орудиями. В стороне стояли длинные деревянные бараки, в них жило около 500 французов, работавших на заводах. Привели нас в зенитный 4-й взвод, распределили по орудиям и стали обучать строевой подготовке, названию частей орудия и немецкому языку. Здесь было до 25 немцев. Пищу давали ту же, что и им, но только после раздачи немцам. Так что, иногда получали обильно, а иногда худо. Нас было четверо: двое из Украины, один казах и я. С утра до обеда находились около орудий, потом с одним немцем ехали за обедом, после обеда ходили в французский лагерь мыть канистры, и там встречались и разговаривали с нашими русскими девушками. Еженедельно их пригоняли к французам мыть и красить бараки, а однажды, когда мы их встретили, им привезли пищу из лагеря. Одна из них позвала нас и открыла канистер; я отпрянул от вони — стоял тот же гнилой кислый запах нечищенной полусгнившей картошки, которой кормили пленных. Мы-то уж отвыкли от этой вони, а одна девушка с упреком сказала: «Эх, добровольцы! Кого защищаете? Эх, вы! . . .» От стыда мы не могли смотреть им в глаза. После этого, все остатки своей пищи мы приносили им. Лагерь, в котором они работали, был заселен гражданскими французами, все они были здоровые, упитанные, получали посылки из дома. Жили неплохо. Западных жителей немцы на работы, подобные как нашим девушкам, не посылали, только «унтерменшей» без разбора пола и рода работы. Некоторые девушки не выдерживали голодного пайка и продавали французам свое тело. Нельзя судить их за это. Жить и им хотелось. Хотелось увидеть своих близких, родных, услышать родную речь, а не эти постоянные «Лос, лос!» — голод, холод, проволока, проволока без конца. Хотя и у себя дома было нелегко, но все это нелегкое было свое и у себя. Там найдется кому рассказать, а здесь свои такие же несчастные, а немец на жалобу ответит прикладом.

Однажды на работе я порезал палец и меня с конвоиром отправили в город к доктору. Шли по тротуару. Дорогой встретили обер-лейтенанта летчика, конвоир сделал приветствие. Не прошли мы и нескольких шагов, как услышали громкий окрик и, подбежавший, офицер начал орать на конвоира, что он не должен идти по тротуару с русским швайн. На объяснение конвоира, что мы живем вместе, офицер продолжал орать, повторяя «руссише швайн», «унтерменш», и приказал солдату, явившись в часть, доложить начальству, чтобы на него наложили взыскание. «Яволь!» — покорно ответил конвоир. Тогда-то я убедился, к какому освобождению России стремятся немцы.

ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ

«Тучки небесные, вечные странники
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, словно такие ж изгнанники,
С милого севера в сторону южную . . .»
М. Лермонтов

Лето 1943 года шло на исход. В августе нам приказали собрать вещи, посадили в автомашину и привезли в один из военных городков Брауншвейга. Там таких как мы оказалось 35 человек. Городок был заполнен немцами в желто-африканской одежде, с напуском брюки, в рубашках с короткими рукавами, в широкополых шляпах, которые я видел только в кино. Недалеко находился товарный состав, на открытых платформах которого стояли зенитные орудия. Поскольку я знал немецкий язык лучше всех, меня назначили переводчиком. На другой день с немцем пошел получать обмундирование. Выдали то же самое, только с пилоток отпоролы орлов, и краской написали «SU» (Советунион). 20 августа весь день происходила погрузка. Нас всех посадили в вагон, густо застланный соломой. Тронулись. На остановках 3 раза в день выдавали пищу, утром кофе с хлебом, в обед суп и второе, вечером приварок и остатки от обеда. Пища приготавливалась в походной кухне, находившейся на платформе; меня взяли туда чистить картофель и мыть посуду, и только к вечеру я возвращался в свой вагон. Так промелькнули Прага, Вена, будапештские купола. В одном месте дорога проходила по берегу реки, в этих местах поезд замедлял ход, машинист давал гудок, люди нежившиеся в воде в купальных костюмах, махали нам приветливо руками, на поворотах поезд снова набирал скорость и все проходило, как в фильмовом кадре.

Мелькали дни, страны, города: Белград, Скопль — здесь простояли полдня за городом и сразу начался товарообмен. Немцы меняли сигаретную бумагу на табак; здесь же я увидел после многих лет надпись на коробке сигарет «СВОБО-

ДА», слышалась славянская речь, но около нашего вагона стоял часовой и строжайше запрещал разговаривать с населением. К вечеру гражданская прислуга паровоза сменилась военной и колеса вагона снова начали отбивать километры. В эту ночь шесть человек наших товарищей, открыв дверной крюк проволокой, убежали, выпрыгнув на малом ходу. Утром я только взобрался на платформу, как сразу позвали назад. Поезд остановился среди поля, нас из вагона выгнали и начался обыск; из мешков все вытряхивалось в одну кучу. В моем мешке обнаружили тетрадь, в которой я записывал, при учёбе в Брауншвейге, немецкие фразы, передали ее вахмейстеру, где он громким голосом прочитал: «Их либе Дёйчланд», «Их либе дас дейче фольк». Когда он узнал, что тетрадь моя, то ехидно засмеялся и повторил: «Ду либст дейче фольк!» «Сжечь!» — крикнул он. И нас пинками и прикладами начали загонять в вагон. Теперь на дверь стали вешать замок. Через день, на одной остановке, прочитал — Салоники, дорога шла по берегу Эгейского моря, а берег до железной дороги был залит асфальтом и опутан колючей проволокой. Здесь поезд шел очень медленно, дорога круто поднималась в гору и в одном месте я увидел на берегу длинную торпеду, о которую бились волны, двигая ее назад и вперед. Медленно проехали Ларису. Здесь дорога шла высоко по горе, над самым обрывом и, когда глянешь вниз, деревья кажутся зелеными точками на серо-каменистой почве, речка словно зеленая нитка, а вверху высоко-высоко парили птицы и казались черными крапинками на безоблачном небе.

30 сентября прибыли в Афины и стали сразу выгружаться. Здесь нас ожидали итальянские грузовики с тупыми носами, прицепили орудия и двинулись вниз. Дорога все время вилась по склонам гор, среди виноградников и больших помидоровых огородов, посреди которых стоял колодец; по кругу ходил ослик и подавал воду на поля. Иногда виднелись глиняные мазанки без окон и дверей. Навстречу попадались грузовики с ящиками фруктов, последних было нагружено так много, что они свисали со всех сторон и непонятно было, как все это держалось. По обочинам дороги медленно шагали ослики, нагруженные поклажей, рядом плелись старики или дети с хворостинами в руках, а греческая молодежь находилась в Германии, на принудительных работах или в партизанах. Эти люди были смуглы, с навис-

шими черными бровями, без улыбок на лицах. Вверху, где почва была зеленее, паслись стада овец и на горизонте маячила фигура пастушка с длинной палкой.

На последнем перекрестке дороги я прочитал надпись «Элейзис» и, когда спустились в долину, то слева открылось море с парусными лодками, сливаясь вдали с безоблачным небом. Впереди небольшой городок, окруженный фруктовыми деревьями, за ними горы подковой опоясывающие долину и концы подков упирались в море. Дорога круто свернула направо, проехали мимо часового и въехали на гладкую асфальтовую дорогу, по бокам густо засаженную цитрусовыми деревьями. Здесь слышался сильный гул опускавшихся и поднимающихся самолетов; по бокам посадочной площадки находились бункеры в высоту самолета — в форме подковы. За ними прятались бомбардировщики «женкельс», «юнкерс», «мессершмидт», а сзади них, вокруг аэродрома, сплошной сад из оливковых деревьев, под которыми в вырытых ямах виднелись бочки с горючим и аэробомбы. Проехав аэродром, стали у подножья горы и стали выгружаться. Гора высилась метров на 300, наверху виднелась вышка, каменный домик с бассейном для купанья. На военной карте это место было обозначено «Высота 60», и она стала зенитной точкой для 4-го взвода.

Э Л Л А Д А

В апреле 1941 года немецкие и итальянские войска совместно оккупировали Грецию. В городах конфисковывался товар, у крестьян забиралось все, безвозмездно. Этим немцы поставили население в безвыходное положение; греки начали уходить в горы к партизанам. Последние на зверства фашистов начали отвечать террором и диверсионными актами, приводя немцев к большим жестокостям. Так газета «Грихише нахтрихтунг», на первой странице, пестрела приказами о расстрелах заложников — по 10—20 и более человек, а весной 1944 года цифра увеличилась до 50 человек, — после убийства немецкого майора. В ответ на это партизаны еще более усилили свою деятельность против оккупантов: под откосы летели воинские составы, истреблялись офицеры издававшие приказы... Особенно сильно ненавидели греки итальянцев, которых в оккупированных зонах находилось больше чем немцев, и которые к жителям относились бесцеремонно; играла здесь роль и вековая вражда между этими двумя народами. Греки сильно бедствовали, голодали и держались только на фруктах; в стране была полнейшая инфляция: одна пачка сигарет стоила десятки тысяч драхм, а о хлебе и говорить не приходится. И это происходило в стране величественных зданий, древней архитектуры, литературных произведений; в стране научившей мир красоте, давшей людям идеи демократии. Немцы и итальянцы забирали все, что попадало в поле зрения, не жалели и прекрасные сады с оливковыми, фиговыми и цитрусовыми деревьями... Среди них оккупанты расположили и свои зенитные орудия... Когда солнце спускалось за горы и темнота покрывала долину, начинался вой сирен, предупреждая о подходе партизанского отряда; все мчались к орудиям, держа под мышкой одеяла, поскольку приходилось находиться на дворе всю ночь, а ночи стояли холодные. С началом тревоги, вокруг аэродрома начали раздаваться одиночные выстрелы, им отвечал тяжелый автомат, иног-

да рвалась мина. Сразу же за аэродромом и до предгорья находилась минированная зона и были случаи, когда пастухи с овцами и козами взрывались на этих минных полях.

С восходом солнца утром ложились на койку, над которой находились четыре рейки с сеткой, — предохранение от малярийных комаров, которых в этой местности была уйма, и спали до 8 часов утра; а после завтрака отправлялись на работу. Гора была усеяна большими валунами, к которым мы приделывали стенки из диких камней, бетонированную крышу, и бункер был готов. В каждом лежало до 12 снарядных ящиков. До марта 1944 года мы наделали сотни таких бункеров — в каждой зенитной точке.

До нашего приезда аэродром этот ни разу не бомбили, а в середине сентября это свершилось: в обеденный перерыв сразу завывла сирена и сразу же упала бомба. Я сидел на стенке бассейна, и от неожиданности скатился в воду, кое-как выбрался и бросился к орудиям. Наша обязанность была таскать снарядные ящики из бункера. Низко пригнувшись я побежал за ящиками; в некоторых местах уже горел фосфор от упавших бомб, и аэродром был окутан густым черным дымом. Горели бензин и не успевшие подняться самолеты, которые представляли хорошую цель для тяжелых авиабомб; в промежутках между взрывов бомб, раздавались продолжительные пулеметные очереди. Бомбежка продолжалась с полчаса. Наши зенитки не стреляли, потому что английские самолеты были выше нашей цели; лишь где-то около моря слышалось как били 88 мм орудия. К 4 часам вечера, когда рассеялся дым, аэродром представлял из себя разбитое поле, где местами вырывались языки пламени от догоравшего самолета и фейерверком взлетал огонь от взорвавшейся бензиновой бочки. А ночью, после того как огонь сделал свое дело, пригнали греков из городка и приступили к ремонту посадочной и подъемной площадки.

На другой день аэродром работал нормально; снова ревели «хенкельсы» и «мессершмидты», а трехмоторные «юнкерсы» пополняли уничтоженное. Во время бомбежки одна из зажигательных бомб попала в нашу палатку и все наши тряпки сгорели. На другой день мы отправились в штаб, чтобы получить новое обмундирование. Городок, несмотря на близость к аэродрому, ни разу не был поврежден, ни одна бомба не попала в него. Штаб батареи находился в центре городка в двухэтажном доме, во дворе же стояло несколь-

ко построек с разными складами. Получив все, что нам было положено, мы стали ждать отлучившегося нашего конвоира. В это время мимо нас несколько раз прошел пожилой грек. Посматривая на нас, поманил меня пальцем и тыкая в буквы на моей груди, на ломанном немецком языке спросил, не русский ли я? Когда услышал мой утвердительный ответ, стал радостно трясти мою руку, что-то говоря по-гречески. Иногда лицо его менялось, принимая зверское выражение, он сжимал кулаки, поднимал глаза кверху, голос его превращался в шепот и я интуитивно почувствовал, что он посылал проклятия на голову поработителей своей родины. Потом позвал нас в дом, где налил по стакану желтого вина; повторив это несколько раз мы изрядно захмелели и вышли на двор. На прощанье грек подарил нам еще по бутылке вина. Во дворе мы увидели бегавшего и искавшего нас часового. Он набросился на меня с криком и кулаками, но когда я всунул ему бутылку вина, он моментально переменялся и замурлыкал, словно кот когда ему чешут подбородок.

Вернувшись назад поставили новую палатку, сколотили кровати; на наше счастье в эту ночь тревоги не было, вместе с ужином нам выдали по литру «Вермута», да было еще три бутылки от грека, так что мы устроили новоселье: расселись на кровати и до полуночи выпивали и пели песни. Пели мы больше украинские; когда зашел к нам часовой с целью успокоить, мы заканчивали советскую песню:

«Вот умру я, умру я —
Похоронят меня —
И родные не узнают,
Где могилка моя . . .»

Эту песню знали все советские подданные, даже такие, которые плохо владели русским языком, но и они выговаривали слова этой песни хорошо.

В одну из ночей октября началась какая-то суматоха, слышался приглушенный разговор, шум машинных моторов. Пришел часовой и сказал, чтоб мы оделись и никуда не выходили. Около наших орудий осталось по 3 немца, а остальные в полной боевой готовности вскочив в машины,

умчались в темноту. На другой день мы узнали, что Италия капитулировала. Все итальянцы были арестованы и заключены за проволоку, как пленные. Позднее их, как и нас, распределили на группы и мы вместе работали по бетону. После этого бомбежки сразу участились. Теперь англичанам из Италии летать было совсем недалеко и бомбили они почти каждый день. Ночью летает разведчик и фотографирует объекты, а днем налетают бомбардировщики...

В один из таких дней, когда дождевые облака низко облегли долину, завывала сирена. Мы бросились за ящики со снарядами, сидим и ждем. Это был самый страшный день. Со стороны моря все сильнее и сильнее нарастал гул бомбардировщиков. Вдруг в одном из просветов на небе они показались по 3 в ряд и снова нырнули в тучи. В это время начали бить тяжелые зенитки, и с первым залпом мы услышали рев приближавшийся к земле. Затем из-за тучи штопором вынырнул самолет, ударился о волны, взметнул столб яркого пламени, и набежавшие волны похоронили остатки. Самолеты кружились над аэродромом стараясь выйти из низких облаков, по-видимому в поисках для себя цели; стоял страшный вой, казалось что камни дрожали. Покрутившись минут 15, самолеты повернули назад и гул их исчез в высоте.

До января месяца бомбили не меньше двух раз в неделю. На аэродроме машин становилось все меньше; нас чаще брали работать на кухню и там я был свидетелем, как вылавливали партизан. Однажды по улице затрещали мотоциклы и машины. Во двор прибежала плачущая гречанка, работница кухни, и сообщила, что в городе идет очередная облава, и у всех, у кого не окажется документов, арестовывают и отправляют в тюрьму, а оттуда в Германию. У нее в городе остался муж и она не уверена, увидит ли его. По улицам с плачем бегают старухи и дети, а солдаты, подталкивая прикладами, загоняют мужчин и женщин в кузов автомашины.

С началом 1944 года аэродром опустел совсем, лишь изредка опускались на него транспортные самолеты, поддерживая связь с Критом, или иной садился за горючим. Прекратились и бомбежки. Много пришлось увидеть мне несчастных случаев: вот поднимается самолет с бомбами, неожиданно одно колесо подвертывается, машина круто поворачивается в сторону, части крыла разлетаются... оглуши-

тельный взрыв и огонь горючего, или: во время разбега самолета вдруг оба колеса подвертываются, самолет по инерции тащится метров 20 на «животе»; скрежет металла, дым и страшный взрыв . . . а то, после бомбежки подлетит к аэродрому, колеса не выпускаются, летчик выльет горючее на горы и делает посадку, иногда удачно, а иногда сальто-мортале через нос, вся махина приподнимается в воздух и падает на спину.

В Греции, из-за жары, рабочее время начинается очень рано и к обеду все замирает, оживая только в 5—6 часов вечера, а некоторые магазины торгуют всю ночь.

Пробыл я там до марта месяца, а в марте опять Афины, погрузка и паровоз медленно повел свой состав на север . . .

НАЗАД В ГЕРМАНИЮ

«Хороша страна Болгария,
А Россия, лучше всех . . .»

Опять Ларисса, не доезжая Салоник переехали Вардар. Немцы сразу повеселели, подобрели, а колеса, ударяясь о стыки, словно твердили им: «Ближе к дому, ближе к дому . . .» Здесь железнодорожное полотно, подойдя к берегу, тянулось до самого Скопья. Я снова сидел на платформе, около дымящей кухни. Часть южной Македонии принадлежала Греции, здесь были еще высокие горы с мелкой растительностью, а как только въехали на болгарскую территорию картина изменилась и красота природы открылась во всю ширь. Здесь горы покрыты густыми лесами, в предгорьях можно увидеть дуб, ясень, граб, бук, выше хвойные деревья, а совсем высоко горные луга.

Через 4 дня приехали в Скопле. Здесь бросаются в глаза две культуры — Европа и почти 5-вековое владычество Турции.

Положительная роль России в истории Болгарии велика, и это сказывалось в братском отношении населения к нам, пленным. Наш взвод отправили за город охранять рудник, там среди высоких гор приютилось небольшое местечко.

Целую неделю немцы ожидали приказа, что им делать, и всю эту неделю жили в вагонах. Начальство их уехало и самым старшим был унтер. Все целыми днями не вылезали из кафаны, пропивая болгарские левы. Потом болгары как-то узнали о нашем существовании, привели русского эмигранта, работавшего столяром, нанесли нам сигарет, вина, закуски — все без ведома часового. А к концу недели, когда левы от немцев перешли к кафанщику, они то и дело забегали к нам за сигаретой или опрокинуть стаканчик вина.

В воскресенье приехавшее начальство увидело полупустой эшелон, тотчас же послало солдат собирать своих ефрейторов, и целый день был слышен крик «Хин лиген, ауф! Хин лиген, ауф!», а мы, пьяно улыбались, выглядывая из

двери вагона. А к вечеру, когда алкоголь брал свое, затягивали песню: «Коло млина кримирина, зацвела калина . . .» и орали, пока часовой не обрывал нас.

Слухи, которые пробивались к нам, были не утешительные для немцев: что Ленинград уже освобожден от немецкого окружения и советские войска вошли в Бессарабию; что американцы высадились под Римом, — фронт по кругу сужался к центру Германии.

В один из дней следующей недели наше веселие кончилось. Снова застучали колеса о рельсы, опять замелькали километры, и к концу дня заблестели воды быстрой Моравы, катившей свои воды среди вечнозеленых кустарников, оливковых роць; на возвышенностях росла хвоя, обширные сады слив, из которых готовят знаменитую «Сливович». Прошел еще день и на утро приехали в Белград. К эшелону подали грузовики, прицепили орудия, заревели моторы, и опять путь-дорожка с остановками. Ехали часа четыре и остановились на берегу Дуная. Приступили к разгрузке. Пробовали грузовиками подтянуть орудия ближе к реке, но они застревали в мокром песчаном грунте. Тогда унтер-офицер отправился к соседнему крестьянскому двору, хозяин которого оказался банатским немцем, и тот пришел с двумя лошадьми.

К концу нашей работы, когда поставили последнее орудие, пришла женщина с девочкой и принесла два больших белых хлеба, большой кусок сала и дюжины три яиц. Немцы сразу же бросили всю работу, отправились готовить пищу, а нас заставили делать палатки. Последнюю сделали для себя, устлав ее ветками и сухой травой. Часовой принес нам по куску хлеба и немного сала, яиц нам не полагалось; все это запили дунайской водой и крепко уснули после трудового дня.

Весь апрель работали с лопатами, кирками, рыли ямы для патронных ящичков, насыпали песок в мешки и из них складывали стены вокруг орудий. Стало опять голодно. После немцев ничего не оставалось. Мы по вечерам садились на берегу Дуная, смотря на отражение луны в воде и вспоминали сытую и пьяную жизнь в Греции. Дунай тихо катил свои воды, надрываясь под тяжестью барж, протяжно кричал буксир, а мы еще туже подтягивали ремни. Здесь, 6 июня, мы услышали новость, что «Американцы высадились во Франции».

Дни проходили в спокойствии, пока 15 июня не появились два самолета, завывали сирены; все повыскакивали и каждый занялся своим делом. Когда расстояние позволило, немцы открыли огонь из трех орудий. Орудие у которого я находился стояло первым к самолету и первая же пулеметная очередь ударила по нашей пушке. Пули со звоном ударялись и отскакивали от орудийного железа. Вдруг я почувствовал как бы ожёг на левой ноге и сразу присел; на левой ноге показалась кровь и я почувствовал сильную боль. В ту ночь ранило трех человек и одного убило. К утру приехала санитарка и нас отвезли в местечко Ковин, где в бывшем доме для умалишенных был устроен лазарет.

ПАЛАТА № 10

«Там, за утёхами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!
Друг! . . . Этот край . . . Моя отчизна! . . .»

М. Лермонтов

Придя в себя увидел, что лежу на койке. Последняя стояла возле большого окна, через которое светило солнце, слышался разговор на сербском языке. Нога моя находилась в гипсе, в нем были прорезаны дыры и в них торчали томпоны еще не высохшие от крови. В голове шумело от наркоза и сильно ныли раны. К вечеру я познакомился со всеми сопалатниками. Это был целый интернационал: смуглый сильный брюнет, русский парень из первой эмиграции, проживал все время в Болгарии; с другой стороны моей койки лежал так же русский эмигрант, плававший кочегаром на пароходе по Дунаю, неделю назад пароход наварвался на мину и кочегару при взрыве оторвало ногу. Были сербские добровольцы, были наши казаки из корпуса Фон-Пановица, один из Русского корпуса, четник Михайловича, серб крестьянин из-под местечка Ковин, да один итальянец. По субботам и воскресеньям к сербам приходили родные и приносили массу кушаний, даже спиртные напитки, как, например, раки, сливович. Все меня угощали, и скажу по совести: таких вкусных вещей я раньше никогда не ел, хотя и жил под красивейшим лозунгом: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Они интересовались все время, как я попал в немецкую армию, и когда я ответил, что я пленный, то они долго не верили, ссылаясь на больничный листок, в котором в истории моей болезни, между прочим, было наверху одной буквой обозначено ранение, а внизу стояло слово «солдат». Так кто-то записал меня в немецкий Вермахт.

В воскресенье до самого вечера в палате стоял веселый шум, приходили сербки с кошелками полными всякой снеди, а иногда со спрятанной бутылочкой «крепкого». (Санитары их всегда пропускали, получая от них подарок.) В уг-

лу комнаты лежал серб по имени Драга, он был единственный, кто мог ходить без помощи костыля или санитара. Он всегда подводил пришедшую сербку к моей кровати и с ударением на букву «о», объяснял, что я русский, пленный; они подолгу трясли мою руку и всегда что-нибудь совали в мой ночной столик. Вечером приходил санитар с сонными таблетками и я делился с ним вкусными подарками. Но хорошее всегда проходит. Однажды пришедшие сербки сообщили новость, что русские войска уже недалеко, а 6 сентября стало известно об эвакуации госпиталя. К 9 сентября всех перевезли в Белград, и ночью мы уже спали в подвале большого здания, видно было что это бомбоубежище. Получили верхнюю одежду, а 11 сентября колеса поезда-лазарета снова начали выбивать километры.

Я лежал на верхней койке около окна. Переехали медленно Дунай. Мне вспомнились почему-то слова из стихотворения Лермонтова:

«Кто же вас гонит: судьбы ли решенье?
Зависть ли тайная, злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление —
Или друзей клевета ядовитая? . . .»

Поезд продолжал мчаться в темную пасть ночи. 16 сентября прибыли в Вену, состав наш медленно полз мимо заводских корпусов, около которых группами работали кирками и лопатами люди со значками из трех букв О.С.Т., у других желтая звезда на груди. За заводами находились небольшие домики. Поезд наш остановился в этом месте. Около вагона забегали дети, женщины, которые совали в окна буханки хлеба, бутылки с вином и молоком, у каждой женщины на глазах стояли слезы, каждая из них была матерью или женой, и у каждой из них находился в огне войны самый близкий, самый любимый человек. Ночью еще несколько раз поезд наш куда-то передвигался, а утром остановился у разгрузочной площадки. Вскоре прибыли санитарные машины и нас, по четыре человека в машине, на носилках повезли в госпиталь. Последний находился в одном из лучших районов Вены — Пратер. Здесь обмыли, выдали обмундирование и костыли и я начал упражняться в ходьбе.

22 сентября меня включили в группу из 10 немцев и привезли на вокзал. Усадили в поезд. Ехали около трех часов.

В Санкт-Пелтен сделали пересадку на узококолейку; дорога «Мария Целлер бан». Красивее этой местности я ничего нигде не видел. Дорога все время поднималась в гору. Заходящее солнце освещало верхушки гор. Горы поднимались все выше и выше. Всюду, куда ни кинешь взор, лес и горные пастбища. Кое-где виднелись, словно на картинках, раскрашенные домики. Местами паровоз замедлял ход и тихим ходом переезжал по «чертову мостику» на другую сторону, а внизу далеко блестела речка. Когда поезд наш поднялся на самую вершину горы, замелькали огоньки и вагон наш остановился около двухэтажного дома «Вокзал Гёзинг». В вагон вошли сестры милосердия и с их помощью мы вышли из вагона. Недалеко от вокзала стоял большой дом с вывеской «Отель Гёзинг». Это был резерво-лазарет, в нем мне пришлось прожить около двух месяцев. Гёзинг — одно из красивейших мест Австрии в Альпах на высоте 2860 метров. Как только выедешь за Санкт-Пелтен, когда город скрывался в долине, на каждой остановке находился отель. Здесь когда-то отдыхали, загорали на зимнем солнцепеке, катались на лыжах, ходили на охоту. Здесь для человека лыжи были вторыми ногами. Жившие ниже жители, шли на вокзал с лыжами; у вокзала к стенке была приставлена рама, куда их и ставили. Возвращаясь из города, или когда дети шли из школы, лыжи забирались и каждый катился вниз, до самого своего дома. Все жители здесь жизнерадостные, розовые, круглолицые, веселые и добрые, на их характере сказалась сама природа. Мне приходилось не раз ездить в Санкт-Пелтен к зубному врачу и каждый раз в вагоне пассажиры старались уступить лучшее место, а если кто кушал, то обязательно делился, предлагая бутерброд. До них, к счастью, не дошел ужас воздушных тревог, постоянная беготня в городе и сидение в бункерах... Раны мои заживали медленно. Однажды утром, как всегда после обхода доктора, сестры разносили лекарства, одна из них сообщила, что для меня есть новость. Целый час томился я дабы узнать поскорее эту новость... наконец дверь открылась и сестра с какой-то незнакомой девушкой подошла к моей койке. Девушка оказалась русской, из Крыма; мы познакомились, что намного облегчило мое одиночество в госпитале. Звали ее Валя, работала при кухне, уже 2 года. И сообщила еще новость, что в следующей палате лежат трое русских; а на следующей остановке в отеле работают еще две наши

девушки. Вскоре мы перезнакомились. В воскресенье после обеда приезжали девушки из соседнего отеля, привозили закуски и даже вино. У Вали была гитара, мы отправлялись в лес и воздух наполнялся звуками голосов о далекой Украине. Девушки происходили с юга. Много пели песен, а под конец такую, что хватала за сердце, за самую душу — «Реветай стогне Днипр широкий . . .» Иногда к нам подходили гуляющие по тропинкам немецкие солдаты из госпиталя, мы угощали их чем могли; они всегда просили спеть им «Стеньку Разина» и всегда подтягивали нам по-немецки. Когда же доходили до слов «на помин ее души», чокались и выпивали, когда было вино, после чего расходились по палатам.

На втором этаже здания, в котором помещался вокзал, жила австрийская семья: муж, жена и двое детей. Валя была с ними хорошо знакома и мы часто просиживали у австрийских друзей допоздна. Через коротковолновый приемник слушали передачи с «той» стороны и многое знали, что делается на свете. Так узнали, что Румыния подписала договор с союзниками, что американцы освободили Париж, англичане взяли Брюссель. Мак Артур высадился на Филиппинах, 20 октября американцы взяли Аахен, что советские войска освободили Белград и со стороны Венгрии подходили к австрийской границе. Ежедневно через нашу местность пролетали сотни американских бомбовозов. Они уже бомбили Санкт-Пелтен, Вену, Винер-Ноештадт и иногда ясно слышались взрывы бомб. В конце ноября Валя получила извещение об отправке на рытье окопов в район Айзенштадта; мы крепко, по-родному с ней простились и Вали среди нас не стало. А 15 декабря, когда снег уже покрывал местность, одевши хвойный лес в белое покрывало, меня вызвали в канцелярию. К тому времени я уже костыли бросил и передвигался без их помощи, с палкой; там мне сообщили, что я должен ехать в «Кранкензаммель штелле» и там смогу просить отпуск.

На другой день, простившись с австрийской семьей, я отправился в новый для себя путь. На душе было тяжело, тоскливо до слез; я так сжился с этой прекрасной семьей, которая мне заменяла родных своим приветливым отношением. В Санкт-Пелтен сделали пересадку. Местность здесь сильно изменилась после того, как видел ее летом. Теперь много кварталов было разбито, на вокзале стояла грязь. Невольно чувствовалось, что приближается конец войны. Еще не-

сколько часов пути и мы приехали в Вену. Вена, Вена, где твоя красота, где твои дворцы и дома в стиле Барокко? Не слышно музыки Штрауса, не слышно былого шума мчавшихся трамваев, да и сами люди как бы не те, что были раньше, одеты неряшливо, с какими-то сумками, и все куда-то спешат, в чему-то прислушиваются... На другой день, сделав в Вене пересадку, я прибыл в город Опельн. В центре города была большая католическая школа, переделенная в то время в сборный пункт для раненых. Отсюда, как я узнал, отправляли в отпуск или в резервную часть того или иного рода войск. Несмотря на частые воздушные тревоги, город жил своими интересами: вечерами ходили в кино, гуляли по улицам; там я видел несколько фильмов с Марикой Рок; там же встретил Рождество 1944 года.

Здесь нас было 250 человек. Вечером 24 декабря, после ужина, каждый получил по маленькой бутылочке «шнапса», по бутылке вина, пачку сигарет и сладости. Все собрались в вестибюле у зажженной ёлки, а рядом стоял хор из сестер милосердия и монашек; а дальше, вокруг ёлки, на тележках, без рук, без ног, с изуродованными лицами — старые и молодые солдаты... Священник произнес молитву, потом вышел главный врач и от имени персонала и себя поздравил всех с натупающим праздником. Хор медленно начал исполнять «Святую ночь». И полилась божественная молитва, пели сестры, по их лицам катились слезы, блестящие от света свечей, и горошинками падали на пол. Постепенно в мелодию включились почти все присутствующие и песня расширялась в могучий напев, несясь туда к Всевышнему, как бы прося прощения за всю кровь, что лилась по городам и селам земли... А когда умолкли последние слова песни, слышался плач молящихся. Плакали все, простирая в мольбе руки. Так прошло некоторое время в молчании. Врач снова вышел и пожелал всем спокойной ночи. Мы стали расходиться по комнатам.

Придя в палату, положили подарки на стол, сели, выпили и начали вспоминать эпизоды войны... Рядом со мной сидел лет двадцати пяти человек без руки, оторванной на итальянском фронте. Когда, после моего приезда, он узнал что я русский, мы сразу подружились, Перед Италией он был на русском фронте под Сталинградом и благодаря одной русской женщине спасся от плена. Об этом он и рассказал в тот вечер следующее.

— В сентябре 1942 года я (его звали Ганс) в чине унтер-офицера был командиром разведки при гаубичной батарее, расположенной на окраине Сталинграда. Батарея билась навесным огнем по закрытым целям в городе. В конце сентября меня вызвал командир батареи и показывая на полуразрушенный пятиэтажный дом, стоявший как свеча среди развалин в километре от нас (оттуда часто бил пулемет, и еще в тот день ранило одного канонира) приказал «взять своих разведчиков, связь и радио и выбить из дома русских, наладить связь с батареей, а на крыше устроить НП (наблюдательный пункт). Я с товарищами до темна наблюдал за домом, а потом, в темноте, поползли к дому. До него было 1000 метров. Ползущие срослись с землей, зная что каждую минуту может наступить конец. Эти минуты не забудет солдат. Понять это может только тот, кто сам прижимался лицом к земле не имея даже времени совершить короткую молитву. Еще несколько томительных минут, казавшихся часами и разведчики прижались к стене дома. Спустились в подвал и услышали приглушенную русскую речь. Ударом сорвали с петель дверь, зажгли фонарь, — перед нами несколько стариков, женщин и детей. Спросил самую молодую женщину: где русские солдаты? Поняв, женщина показала пальцем на потолок. Тихо, без шума, прижавшись к стене, мы прошли первый этаж, потом поднялись на второй, откуда, как будто, слышались голоса. Наше вооружение состояло из автоматов, пулемета МГ-42 и карманы были набиты «лимонками» (ручные гранаты). Тихо сообщаю моим трем помощникам план действия: мы вдвоем распахируем дверь, двое остаются караулить лестницу. Бросаем сразу по две гранаты . . . Грохот разрывов. Врываемся в комнату, очереди из автоматов и . . . все кончено. Обследуем верхние этажи, — нет ни одной живой души. Дом в наших руках. Половина приказа выполнена. Следующая задача — наладить связь с батареей. Но не прошло и часа, как русские начали артиллерийский обстрел дома, как видно узнав в чем дело. На последнем этаже, в одном из оконных открытий устанавливаем пулемет. Одновременно посылаю разведчика и связиста на ОП (огневая позиция), прося помощи. Нас осталось двое. Вражеский огонь усиливается, снаряды снесли полкрыши дома; мы спускаемся этажом ниже. В это время, с другой стороны площади, русские запускают в сторону дома зеленые ракеты, дабы указать летчикам цель. Одновремен-

но посыпались бомбы с воздуха. После бомбежки наступила тишина, но не прошло и тридцати минут, как видим: по площади, в полутемноте, ползут солдаты. Открываем прицельный огонь. Некоторые остались лежать, остальные скрылись за развалинами домов. Начался снова артиллерийский и минометный обстрел, и так продолжалось чуть ли не каждые полчаса. Если бы они знали, что нас только двое . . .

Последнее, что осталось в моей памяти, — продолжал Ганс, — как под утро снова заревели моторы над головой и посыпались бомбы . . .

Когда я пришел в себя, сразу не мог ничего понять. Через оторванную дверь проникал луч света, приглядевшись я увидел что лежу в каком-то темном помещении без окон между поленьями дров. Вдруг послышались шаги. Я насторожился. Вошла женщина, с которой я разговаривал в подвале. В одной руке она держала керосиновый фонарик, в другой — что-то завернутое в грязную тряпку. Оказалось, в тряпке был кусочек хлеба, который она предложила мне, но я, из-за сильной головной боли не мог даже открыть рта и только старался дать ей понять, что хочу пить. Женщина поняла, вышла, но вскоре вернулась и влила мне в рот немного какой-то мутноватой жидкости. Так она целую неделю приносила мне по ночам воду и кусочки твердой пищи. Иногда из подвала доносилась русская речь, а над головой был слышен гул моторов и разрывы артиллерийских снарядов. За неделю я так привык к этой женщине, что однажды, когда она принесла мне кружку воды, вынул из кармана фотографию моей матери и жестами старался объяснить это ей. Женщина, поняв, расстегнула единственную пуговицу на платье и сняла висевший на шее медальон. Открыла его и я увидел изображение Божьей Матери, а на внутренней стороне крышки фотографию молодого парня в красноармейской форме. По ее жестам и слезам я понял, что то был ее сын.

В ту памятную ночь, 12 октября, она пришла рано, когда рассвет еще не тронул горизонт, и взволнованно повторяла: «Дейче, дейче!», показывая в ту сторону, откуда мы пришли. Поняв, что она хочет сказать, я, преодолев слабость, двинулся к дверному проходу, опираясь на ее плечи. У выхода я взял ее руку, сильно прижал к колотившемуся сердцу, крепко поцеловал ее и заковылял в темноту ночи.

Сколько времени я так ковылял — не помню. Но вдруг

услышал оклик «Хальт!» То был свой патруль . . . а дальше — резерво-лазарет в Харькове, потом эвакуация в Германию и, когда состав с ранеными подходил к Варшаве, я услышал о наступлении Красной Армии, завершившийся полным разгромом армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, — так закончил свой рассказ Ганс.

Разлив в стаканы оставшееся в наших бутылках, выпили, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по койкам. Было ровно 12 часов ночи. И в эту ночь были забыты все наши невзгоды.

Ровно через месяц меня вызвали в канцелярию и спросили, имею ли я место, где смог бы пробыть две недели отдыха, и чтобы недалеко находился госпиталь, в котором я мог бы делать перевязки. К этому времени я уже списался с семьей Штихер и дал их адрес. К 12 часам ночи был уже на вокзале. Подошел поезд дальнего следования с кабинками и стеклянными дверями внутри. Сделал пересадку в Вене и Санкт-Пальтене и к обеду я выходил из вагона. Яркое светило солнце, по перрону ходили раненые солдаты, здесь было как-то особенно спокойно и тихо, казалось — не было никакой войны.

Я вошел в дом и заковылял на второй этаж. Дверь открылась. Увидя меня г-жа Штихер громко вскрикнула от радости, обняла меня и сообщила, что приехала Валя и быстро побежала к ней. Валя пришла только после обеда, а вечером пришел со службы хозяин, г-н Штихер, он по слабости здоровья был освобожден от армии и работал техником на железной дороге. Как и раньше, до позднего вечера мы просиживали у радиоаппарата, слушая новости. Валя рассказывала о своем пребывании на рытье окопов: как прилетали американские самолеты, но не бомбили, а сбрасывали листовки с призывом перестать сопротивляться и этим кончать войну. Так, незаметно, подкралось и время разлуки, и на этот раз навсегда. На другое утро, простившись горячо со своими друзьями, с Валею, я вошел в вагон . . .

3 февраля, когда утро еще не тронуло горизонта, поезд остановился у вокзала Кассель; да, собственно говоря, вокзала-то уже не было, он был разрушен, а вместо него стоял длинный барак, где я получил «штампгерихт» и что-то в виде кофе. Подзакусив бутербродами полученными от моей гостеприимной хозяйки г-жи Штихер, осведомившись о пути, я направился в месту своего назначения, которое нахо-

дилось в 4 километрах. По тротуарам идти было невозможно, все было завалено руинами от разбомбленных домов, и я вышел на дорогу, но и там было не легче; я спотыкался в воронках от зажигательных бомб, падал, отдыхал и снова продолжал свой путь. Кругом ни звука, ни электрического фонаря. Марс сделал свое дело. И когда утренний рассвет показался на горизонте, и можно было различать предметы, я привстал, дабы перевести дух, и оглянулся. Стоял я на возвышенности и насколько мог охватить глаз не было ни одного здания, лишь горы камней и торчащие трубы. А совсем недавно жизнь здесь была ключом, одного населения было до 200 000 душ. На реке Везер, которая впадает в Северное море около Бремена, Кассель славился своей тяжелой промышленностью; здесь были танковые заводы, потому его и уничтожили до основания. Окинув взором еще раз эту местность, я заковылял к видневшимся на холме казармам, это была цель моего пути.

Военный городок «Хазен-Эке» («Заячий угол») стоял на холме, на котором не было никакой растительности, и представлял для авиации ничем не прикрытую цель, каким-то образом остался цел. Кто знает, может быть союзники оставили этот городок для себя. Здесь скопилось с тысячу, а может быть и больше, солдат и офицеров зенитных и летных частей. Это место представляло собой последний этап для выздоровевших раненых; отсюда, после медицинской комиссии, или отставка или на последний бой. Выяснив, что у меня и в помине нет арийской примеси в крови, через две недели отправили в Магдебург, в который я прибыл в марте месяце. Ежедневно сюда пригоняли сотнями русских пленных с разных работ и из лагерей. Около санчасти стояла всегда длинная очередь, тут проходили медицинскую комиссию и отправляли в Баварию, в Мюнзинген, в котором начала формироваться 2-я Власовская дивизия. Некоторые из пленных были взяты в плен всего полгода назад, но уже качались от ветра из-за своей истощенности. Однажды, когда одной такой партии выдали перед осмотром хлеб, из барака, с озверелым лицом, выскочил доктор и начал орать, что эти «швайн-хунды» ничего не понимают и подходят к доктору с хлебом в зубах. Он всю партию вытолкнул из кабинета. Однажды, во время тревоги, я задержался в палате (жил я при санчасти), когда я вышел во двор, там стояла мертвая тишина, лишь откуда-то сверху слышался рокот моторов. Не

успел я выйти за пределы лагеря, как сзади послышался шум подъезжающей автомашины, которая поравнявшись со мной остановилась. В ней сидел штаб-арцт с сестрой. Сначала он мне дал хороший нагоняй за позднее хождение, потом посадил в машину и мы двинулись за город. За городом на дорогах шла лихорадочная работа: возводились всевозможные укрепления, рылись противотанковые рвы и тотчас же все минировалось. Магдебург был объявлен крепостью. Вскоре меня с партией пленных отправили в Мюнзинген, а через три дня, поздно вечером мы были в Ульме. В этот день Ульм только что перенес очередную бомбежку, кое-где еще показывались языки пламени, огонь доканчивал свою работу, а когда мы вышли из вокзала, увидели партию солдат, разговаривавших по-русски. От них мы узнали, что в городе Мюнзингене никого нет и что русские и казачьи части собираются в Италию в район Удино-Джемона, куда направляются и они. К ним примкнули и мы.

Ехать нужно было через Мюнхен, там мы получили пак и переночевали в «Солдатен-хайм».

Через пару дней приехали в Инсбрук, и за городом, около шлагбаума, стояли и ловили машины, ехавшие в нашем направлении. Вскоре такая машина для нас нашлась, мы влезли в кузов и доехали до Толмецо, где я и встретил отступающие части генерала Доманова. При штабе, в одной из комнат, с засученными рукавами стоял солдат и отрубивал куски сыра от большущего круга, куски не взвешивал, а спрашивал каждого — «Хватит?» От него я узнал некоторые подробности — что все должны двигаться в Австрию, а оттуда в Прагу, что город кишит партизанами, что завтра должна прибыть юнкерская школа, и тогда мы двинемся через горный проход на Филях. Он послал меня в школу, где можно было переночевать. По городским улицам, как на картине из времен первых дней революции, расхаживали партизаны с карабинами через плечо и перевязанные пулеметными лентами, и если бы не черные береты на головах, то точно как красногвардейцы. Из открытых окон в домах высывались дородные итальянки, что-то кричали и размахивали красными тряпками. Юнкера пришли на другой день к обеду и через несколько часов заскрипели телеги, повозки, на которых сидели бородатые казаки, старухи, дети; сзади телег были привязаны коровы, овцы и несколько верблюдов. По бокам дороги цепью тянулись вооруженные ка-

заки, и вся эта масса двинулась к горам. Еще в городе я увидел три грузовика с легкими орудиями и попросил немецкого капитана, старшего в этом обозе, чтобы разрешил мне сесть в машину. Как видно, моя палка, на которую я опирался, помогла мне в этой просьбе и капитан помог даже взобраться в кузов. Когда подъехали к горам начался мелкий дождик, а на верху горы белел снег. Среди нас прошел слух, что партизаны решили на нас напасть. Вместе с казаками мы заняли оборону: сначала пропустим гражданское население, а потом, после них, пойдем через перевал. Утром, как только начался рассвет, двинулись и мы, после гражданской публики. Чем выше поднимались, тем ехать становилось труднее, дорога состояла из одних круч. По обочинам начали попадаться брошенные телеги со скарбом, а перед самой верхушкой горы — мертвая скотина. Некоторые люди, лишившись лошадей, перестроили телеги в какие-то ящики, приделали полозья и в этих ящиках тащили стариков, детей и нужный скарб. На верху перевала картина резко изменилась. Стоял полдень, ярко светило солнце, люди повеселели, слышались шутки, смех, да и дорога стала спускаться вниз, идти стало легче. К вечеру были уже в Филях. Здесь, переночевав у одного крестьянина и переговорив с капитаном, я решил ехать в Мюнхен. В Бишенсхофене остановились, чтобы достать продуктов, на вокзале случайно узнал, что за городом стоят русские части, и действительно, недалеко от дороги шедшей на Зальцбург стояло с полдюжины барачков; с одной стороны была власовская часть, с другой — казаки.

8 мая в Берлине был формально подписан договор о капитуляции Германии. Это время было — время безвластия — американцы еще не подошли, а немецкого командования не было, лишь на вокзале находилась фельджандармерия, но и она не хотела ничего делать. Здесь у меня снова открылась рана; при казаках была санитарка, куда я и отправился на перевязку. Доктор из фельдфебелей назначил мне явку на другой день. Прибыв в назначенное время я увидел, что вся санитарная часть разбежалась, и мне пришлось самому делать перевязку, выпрашивая у товарищей пакеты первой помощи. Лагерь в этот день бурлил. К тому была причина: у власовцев находилось 16 ящиков с какими-то драгоценными вещами, стоявшими в одном из помещений, под охраной. Казаки стали претендовать на эти драгоценности, и дело

чуть не дошло до стрельбы. Старший из власовцев, поручик М., вызвал немцев. Приехал майор, ему перевели препроводительное письмо Власова, в котором говорилось, что все вещи находящиеся в ящиках должны идти на нужды русских инвалидов. Майор предупредил казаков, чтобы они не трогали этих вещей, а через день весь этот багаж был отправлен в Мюнхен.

В середине мая показались американские танки и сверкающая броней медленно проехали город. Здесь, в бараках, я познакомился с одним власовцем, который поведал мне, что завтра уезжает в Бад-Айблинг, где у него есть знакомые, а тут делать нечего, да и все уже начали разбегаться, кто куда. Решил и я ехать с ним. В начале июня мы прибыли в это место и я сразу принялся за поиски доктора, поскольку с ногой стало совсем плохо, и рана начала издавать тошнотворный запах. Я узнал, что в одном из «курхаузов» находится госпиталь, куда я и обратился за помощью. Меня сразу же положили в кровать. Настал июнь месяц. Лето уже вступило в свои права. Я лежал в большой светлой комнате и однажды, через открытое окно, услышал русскую речь; привстав с кровати в окно увидел двух девушек, окликнул их, заговорил. И узнал, что здесь есть русский комитет, где можно получить документы. Отпросившись у доктора, я сфотографировался в городе и зайдя в комитет, получил синюю книжечку на трех языках, что такой-то является русским бесподанным эмигрантом. Когда прибыла американская комиссия проверки, нет ли здесь эсесовцев, и очередь дошла до меня, я поведал им свою эпопею. Они удивились и решили было отправить меня в репатриационный лагерь. От этого я категорически отказался, показал им удостоверение со словом «штатенлос» и упирая на то, что у меня здесь есть хорошие знакомые, хотел бы остаться в Бад-Айблинге. Американцы с доводами моими согласились, выдали пропуск и я пошел по адресу, который мне дали русские девушки. Там я нашел несколько русских семей и одна из них приютила меня. Через месяц, когда закрылась на ноге рана, я поступил работать при одной американской кухне. Платили сигаретами и продуктами. За сигареты выменял у немцев одежду, а под осень нас перевели в лагерь ДиПи, в Кольбемор.

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Если бы горе дымилось как огонь —
То дым окутал бы весь мир.

Ш. Б. XI в.

«Здравствуй, дорогая мама, папа и сестра Вера, пишет Вам после долгой разлуки Ваш сын и брат. Были такие обстоятельства, что я не мог писать, а сейчас решил, сначала коротко, а по получении ответа напишу подробней. Я женат, имею двух мальчиков, жена русская и живем в Америке. Крепко целую.

Ваш сын и брат».

«Здравствуй дорогой брат. Не нахожу слов от радости, что ты жив и здоров, мы столько пережили, все ждали тебя, неужели никогда не увидимся? Мамы нет дома, она у тети Веры и не знаю, как перенесет этот удар. Я передала соседям, чтобы ее подготовили. Мы остались вдвоем. Папа умер в больнице в 43 году, после ранения под Ленинградом. Я замужем за твоим товарищем А. С., у меня дочь, ей 6 лет. Я ей утром объясняла, чтобы она ничего не говорила бабушке, а она ответила: 'А я скажу и бабушка не упадет, а только поплачет', она тебя знает по фотографиям. Я работаю плановиком на почте, телеграф-телефонной станции, муж начальник участка на механическом заводе. В Ленинграде все погибли во время блокады. В июне ездили в Ригу, там у мужа сестра, замужем за военным. Пишу с работы и беспокоюсь, что с мамой, пиши подробнее о жене и детях, а может быть больше не разрешают писать? Привет от мужа Твоя сестра».

«Здравствуй дорогой сынок!

Крепко целуем тебя, жену и деток. Милый мой, ты не можешь себе представить, как мы рады, что ты жив и здоров. Очень тяжело было для нас первое письмо, я на несколько дней лишилась сна и не могла ходить, вызывали доктора, сейчас немного успокоилась, только пиши, не забывай, ведь я столько пережила, что сейчас плохо с сердцем, отекают ноги. В 41-м году ты пропал без вести, так известили из Москвы. В 43-м году — умер папа, тебе писала Вера, последние три дня я находилась при нем. Очень было тяжело, когда остались одни. В 42-м году умерла в Ленинграде бабушка и тетя Варя, во время блокады. В 45-м году я получила известие из финотдела Ленинграда, куда поступило оставшееся имущество; ценное все растащено, а остальное только выбросить. С папиной стороны все умерли, остался только дядя Ваня, прошел всю войну и сейчас служит на старом месте. Дорогой мой, как ты от меня далеко, наверно поседел от ужасов войны. В 45-м году я получила одно письмо от девушки из Крыма, которая работала в госпитале в Австрии, где ты лежал, и пишет, что ты скоро должен приехать домой. А в 46-м году приходил мужчина, вы были вместе в плену, спрашивал тебя. И вот через 16 лет ты как бы воскрес из мертвых. Живым мы тебя не считали. Видно Господь Бог услышал мои молитвы. Теперь для меня только утешение помолиться в церкви, сходить на могилку папы, Ани... и твое письмо. Пиши чаще.

И так крепко мы вас всех целуем.
Мама и бабушка».

«Дорогой сынок, получила твое письмо с фотографиями жены и детишек, какие вы все веселые и хорошие. Толя, ты пишешь о приезде к тебе, дорогой мой, во-первых очень далеко, во-вторых дорого, а я не работаю и пенсии не получаю и не выдержу с моим здоровьем, да и хлопотать надо через Москву, не знаю, пустят ли. Так что, милый, пиши почаще, не забывай старушку, ведь я когда прочитаю пись-

мо, как будто наговорюсь с тобой. Сейчас я пишу, а остальные ушли к знакомым смотреть телевизор.

Крепко целую,
Мама».

«Здравствуйте Толя, Маруся и детишки. Получили твое письмо. Но почему ты не отвечаешь на мои вопросы, можете ли вы вернуться домой. Я делаю заключение, что вы не желаете. Неужели вам не дорога родина? Вам будет предоставлена квартира, работа в любом городе по постановлению правительства. К нам много возвращается из всех стран, только обратитесь в наше посольство. Если, конечно, вы имеете желание. На мои вопросы пиши на службу, я не хочу беспокоить маму. Или возможно похлопочи о временном паспорте. Если ты не хочешь здесь оставаться, тебе никто не запретит и не тронет, на твоей родине насильно людей не трогают.

Целую — Вера».

«Дорогой сынок, крепко вас всех целует мама и бабушка. Вера с семьей ездила в Ригу и отдыхала на взморье, а мне купили путёвку на две недели, это на реке Клязме около Кинешмы изумительное место, я там хорошо отдохнула и прибавилась в весе. Вера из Риги привезла телевизор, там легче достать, так что теперь смотрим концерты и новости у себя дома, не надо никуда ходить. Обрато они ехали через Ленинград и были на улице Правды, где я родилась и где умерла твоя бабушка и тетя Варя. Вот все новости. Поцелуй жену и детишек.

Твоя Мама».

«Дорогой брат, крепко целую всех, сегодня получила твое письмо на службе. В нем ты пишешь, что я против поездки мамы к вам, да я против, но я маму не задерживаю, пусть решает сама, причина одна — ее плохое здоровье, врач

сказал, что она где сидит, там может и умереть. Я работаю с одной только мыслью, все ли хорошо с мамой, а если с мамой что случится, да еще где-то, для меня это будет непоправимый удар, да и ты будешь переживать и винить себя, так что сам решай с мамой, я вам сочувствую, я ведь сама мать. Пишу и плачу, ведь и я хочу тебя видеть и жить рядом, но только ты меня не приглашай, я не поеду. Ответ пиши на службу.

Твоя сестра. Целуй детей и жену».

«Здравствуй дорогой сынок, задержалась с ответом. 7/2 со мной случился сердечный припадок, хорошо что Вера была дома, а то не знаю что было бы, вызвали врача, сделал уколы и вот уже три недели как лежу в постели. Правда сейчас лучше, но сильная слабость и нет аппетита, да еще и зима, как говорят, сиротская, то сыро, то сильные морозы. Сейчас масленица, слышны колокольчики и разъезжают тройки в цветах и ходят ряженые. У городского сада сделали большую гору и очень много народа. В начале поста, если позволит здоровье, пойду в церковь и на кладбище.

Целую — бабушка и мама».

ЭПИЛОГ

9 лет спустя

«Здравствуй Толя, Маруся, детишки. Крепко всех целуем и желаем всего хорошего. Получила твое письмо, но задержалась с ответом. У нас все по-старому, Лена сдала экзамен об окончании 8 классов, по новому постановлению общее образование считается 10 классов и только после можно поступать в техникум или институт. Ты спрашиваешь, что прислать в посылке. Леночка просит туфли на высоком каблуке, ведь ей пошел уже 16-й год, № 36, мне туфли № 37, Лена все носит 44 или 46. Ей очень нравится плащ, который ты прислал, но становится короток. На зиму нужно справлять все новое, изо всего выросла, еще хотела бы коньки с белыми ботинками и спортивный свитер. Лену зовут в Ригу

и она поедет с папой, я останусь дома, ведь приедут без копейки денег, а нам с ней надо по зимнему пальто. Кончаю. Крепко целую.

Вера».

1967 год

«Дорогой сынок, крепко всех целует мама и бабушка. Вот наступил еще Новый Год, еще мы на год постарели, мне и не верится. Ведь когда я получила первое письмо, внуку было только 7 лет, а сейчас кончает школу, уже 17 лет. Я никогда не думала, что доживу до этого времени, но Бог услышал мои молитвы. Здоровье мое ничего, лишь стала плохо видеть и появился звон в ушах, но доктор сказал, что года и общее состояние. Ездила на могилку тети Веры и заехала к ее племяннице. У них в деревне провели электричество и стало 'светлее жить'. Ну на этом кончаю. Целую, пиши чаще, не забывай маму и еще поцелуй крепко жену и детей.

Мама и бабушка».

«10. 9. 67. Дорогая Маруся, большое спасибо за письмо и верю тебе, что было тяжело переживать болезнь мужа, а моего сына. Хоть вы и далеко, но у меня тоже были такие дни, что я не находила себе места, а сейчас еще отъезд Коли в университет, конечно тяжело. Но надо гордиться, что он такой способный. Я разделяю твою разлуку с Колей. Но ты его можешь видеть и говорить по телефону, а я вот уже 27 лет не вижу сына и твоего мужа, вот теперь я надеюсь ты понимаешь меня, как тяжело переносить разлуку. Пишу, а слезы текут сами. Привет всем родным твоим.

Ваша мать и бабушка».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Тени минувшего	5
Боец	13
Лагерь	16
План «Барбаросса»	19
Плен	26
Доходяги	31
Национальный социализм	33
Тиф	35
Выздоровление	36
1942 год	39
Снова у пушек	41
Дорога дальняя	44
Эллада	47
Назад в Германию	52
Палата № 10	55
Одиннадцать лет спустя	67
Эпилог	70